

К 126 5899

се

**Галина
Шекина**

А Р И Я



ГАПИНА ШЕКИНА

“А Р И Я”

и другие осколки бытия

**Вологда
Свеча-Евстолий
1997**

Наша контора вела вечный ремонт самой себя. В один из таких ремонтов наш отдел слили с соседним. Между нами была только перегородка, да и то не сплошная. Нас гоняли по службе, а их не гоняли. Заходили просители к нам, а искали, оказывалось - их. Дверь общая, а табличка золотыми буквами оповещала о них...

Когда затихал очередной шквал, я ловила за перегородкой звуки - звяканье ложек и приглушенный смех, там пили кофе, его аромат высокомерно реял в воздухе. У них тоже резко звенел телефон, к ним тоже заходили люди с угрожающей интонацией, но все это отлетало быстро. И опять приглушенный смех, реплики, касающиеся косметики, одежды, стихов, мужчин. Пару недель у них работал юрист из городской прокуратуры, знаток своего дела. Но стоило ему вставить слово, не касающееся работы, как общая беседа обрывалась: презрение они выражали в вежливой форме. Любопытство меня разбирало до тех пор, пока я не выдумала какую-то ерунду и не зашла к ним.

Ничего сверхъестественного. Щелкал компьютер, шелестели папки, шумела кофеварка. Я, запинаясь, попросила дать мне разъяснение по транспортным штрафам. Младшая из четырех стала со мной говорить, а начальница молча поглядывала. А потом сделала пару звончков и освободила младшую, занялась мной. Она не просто дала мне подробную консультацию, но и распечатала ее на принтере, а потом еще протянула кофе и столбик шоколада. Такого обслуживания я нигде не видела. Я осмелела и спросила, какие стихи они любят. Они оживились.

"Люблю лимонное с лиловым, сирень среди лютиков люблю./ Лимон фиалками томлю, пою луну в весеннем словом./ Лиловым, лучезарным, новым!./ Луна подобна кораблю..." — прочитала вкрадчиво одна.

И другая откликнулась:

"Изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно!./ Предыдущему, каждому — ясно./ С кем? И это неважно. На свете одно./ Изменяющееся прекрасно./ Одному отдаваясь, мечтать о другом./ Неиспробованном, невкушенном,/ Незнакомом вчера, кто сегодня знаком./ И прикинется завтра влюбленным.../ И при этом возлюбленных так обмануть,/ Ревность так усыпить в них умело,/ Чтобы косо они не посмели взглянуть /Я же прямо в лицо бы посмела..."

Я растерянно слушала их, в первый раз ничего не запомнила. Но потом у них состоялся маленький праздник вроде годовщины их отдела, они пригласили меня. Так я попала к начальнице домой и подружившись с ней, получила не только эти стихи Северянина, но и многие другие. Девочки рассказали мне, что Уна добрая, она никогда не ругает, многое делает сама. Работы немного, санкции идут без суда, так что жить можно. Сначала, когда работы было много, они сердились, что Уна не принимает на работу сотрудниц без высшего образования — казалось бы, какая разница, кто будет печатать приказы, вести

регистрацию! Но потом, когда Уна стала надолго уезжать, почувствовали — важна квалификация, важен опыт.

Под шелесты бесед я смотрела альбомы Уны, удивлялась. В молодости у нее, у родителей, у подруг были такие старинные одежды, будто она жила в прошлом веке.

- Ретро! Какие воланы, рюши.

- Это мой стиль, — улыбалась Уна, — смотри, какая у меня обстановка. Вот это?

Это был туалетный столик с перламутровой столешницей, весь уставленный причудливыми светящимися флаконами, кувшинчиками, рядом горела крохотная настольная лампа, шевелились пудреницы - пуховки.

- Прелесть! — вскрикнула я. Но это слово было слабое, не годилось.

Я стала приходить к Уне все чаще. Однажды я застала у нее незнакомых мне женщин. Уна подала мне вазочку с печеньем, фужер с шипучкой и указала пухлой рукой на приоткрытую дверцу шкафа. Я углубилась в книжки, всякий раз удивляясь, что они такие старые. "Не любит наш век, — думала я об Уне, — книжки от букиниста, пуховки от бабушки." А разговор трех подруг был тоже довольно загадочный.

- У меня опять болит голова, — вздыхала самая старшая из них. — Не успела выйти из больницы, как все сначала.

- Я сейчас все сделаю — успокоила самая молодая, — закрой глаза.

- Они тебя наказывают, — заметила Уна, — сколько раз ты не вышла на контакт? На тебя давит энергетический столб. Есть простой способ избавиться от этой боли. Ты знаешь, какой.

- Не хочу, — воскликнула старшая, — вдруг я втянусь и отразится на дочери?

- Вот видишь, — будто настаивала Уна. — У нас троих примерно одинаковые роли, но тебе всех тяжелее из-за семьи. Ты не хочешь признать свою избранность.

- Чушь! — опять привстала старшая.

- Закрой глаза, — мягко погрозила младшая. — Знаете, девочки, все кончилось, как Уна предсказала. Как только я с ним рассталась, у меня такое хорошее настроение, такие результаты в лечении — все легко пошло. Боли нет уже месяц, даже больше. И работа сразу нашлась — в диагностическом центре. Я им показала оба диплома — и все, я принята.

- Это не значит, что ты монашка, — засмеялась Уна. — Наслаждайся, но не допускай приношения жертвы. Знай, они лишь плод на ветке. Ты разве помнишь персик, который съела три года назад в Анапе?

- Тот персик был сладкий, а этот горький, — вздохнула младшая. Старшая лежала тихо, и погладила младшую по руке. — "Изменить — и во что бы ни стало, да так, чтоб почувствовать эту измену! — прошептала младшая, — В этом скверного нет, это просто пустяк, точно новое платье надену!" В ее голосе слышались слезы. Кажется, они любили одни и те же стихи - Надсон, Игорь Северянин, Десанка Максимович. Я тоже сидела тихо, листала старинные книжки, но не могла не слушать их разговоры. Чудес тут не было: немного

биоэнергетики, немного игры, еще чего-то. На меня напало очень сладкое, сонное состояние. Затылку тепло-тепло, точно гладят любимые руки. Такого никогда не бывает с теми, кого я знаю сто лет. А здесь чужие, почти незнакомые люди. И когда они стали уходить — мне даже стало зябко, грустно, неуютно, точно оказалась на сквозняке. Но Уна продолжала кормить меня печеньем, яблочными пирожками, поить сидром, а потом уговорила искупаться.

- Ты такая бедная в этих ужасных общежитиях. Вода хорошо идет, прими ванну и поедешь домой. Троллейбусы ходят до двенадцати.

В ванной заструился пар, в воде - цветные струи, розовые от шампуня и оранжевые от хвойного экстракта. Плескаться в такой ванне было наслаждение. В приоткрытую дверь плыли чувственные звуки с пластинок Вертинского --"в бананово-лимонном Сингапуре... пуре..." Уна любила эмигрантскую музыку, у нее были хорошие записи неизвестных мне русских шансонье, привезенные знакомой актрисой. Обилие цветов и эти песни, капризные и страстные, всегда действовали так сильно, что вокруг все исчезало. Голова кружилась от фантазий, сердце билось, требуя неведомого...

А в это время Уна в переднике весело мыла мне голову, рассказывала о себе. Свою кудрявую гриву волос скрутила в жгут и заколола шариковым стержнем. Большие дымчатые очки в тонкой оправе туманились, и за стеклами лукаво посвечивали прищуренные глазки.

- Наверно, тебе уже наговорили всяких глупостей обо мне. Лучше, если я сама тебе скажу, а то ты будешь думать невесть что и терзаться, не решаясь спросить. Ну да, я была любовницей нашего шефа, директора корпорации, это тянулось долго. Корпорация находилась в фазе становления, приходилось советовать ему, поправлять. Сейчас этого не требуется, он умеет все делать сам, но привычка осталась. Это тяготит меня. Я предпочитаю краткие бурные связи. Дети — это прекрасно, но это совершенно не мое. Я не способна на жертвы, я должна холить себя, вот и все. Некоторые женщины умеют рожать, умеют жертвовать — вот и пускай себе. Что ты так смотришь?

- Шеф вдвое вас моложе. Врут?

- Может, и не врут. Для меня возраст неважен, я его не чувствую. Потому что я живу не в том слое жизни, где есть годы. Почитай "Агни-Йогу", поймешь.

Она ласково, весело вытирала меня, спрашивала, есть ли у меня мальчик, причесывала и сушила феном. Да, говорила я, есть мальчик, но я еще не знаю, получится ли что-нибудь, потому что он настоящая заноза.

- Ха-ха! — звонко смеялась Уна, — занозы надо удалять. Надо, чтобы было удовольствие, но никакой боли. Иначе начнешь страдать, состаришься, поглупеешь.

Уна обезоруживала. Когда я приходила к ней, она готовила что-нибудь вкусное, с орехами, яблоками, и никогда не угощала мясом, зато всегда были сидры, шампанские, сладкие вина, наливки и лимонады. Она обращалась со мной как с маленькой, гладила мои хлопчатые блузки, завивала волосы. Я могла приходиться к ней, забираться на обширный диван, поспать, могла брать томики стихов, лежащие кругом в

изобилии. Повсюду оказывались красивые безделушки, заколки, коробочки с орехами, упаковки с печеньем, вышитые носовые платочки. Однажды я пришла к ней ночью, дрожа от холода.

- Уна, троллейбусы не ходят...

Она без лишних слов поместила меня в горячую ванну, завернула в пушистый махровый халат, дала чашку с какао. У нее и какао было особенное - густое, ванильное, как крем для торта.

- Уна, он сделал мне предложение. Я сойду с ума.

- Ты ему, надеюсь, откажешь.

Я отставила чашку.

- Да это раз в жизни бывает! Он такой крутой парень, умница, диссертацию пишет, это вообще другая сфера...

- Девочка, это интересно только первый раз. Потом станет скучно. — Она укрывала меня одеялами, подкладывала подушку повыше, подвигала настольную лампу... — Если хочешь быть с ним — ради бога, но зачем эти обязательства, кандалы, такое это рабство, такая гадость для женщины.

Я приготовилась плакать.

- Уна! А любовь?

- Умрет твоя любовь, девочка.

Я не поверила. Я завздыхала и заворочалась в гнездышке, представляя, как мой мальчик идет на другой конец города и нескоро еще дойдет до дома. У него густые русые до плеч волосы смокли от дождя, а плечи в холодной куртке — единственный зонтик. А там дождь со снегом... Он целовал меня только что, его губы приближались к моим медленно, как межпланетная станция, а потом втягивали... Я теперь часть его. Он часть меня. Я не хочу с ним расставаться! Он тоже!

- Не хочу расставаться! — заплакала я.

- Глупенькая, никто не заставляет. Значит, ты уже ничего не понимаешь.

Я ушла от нее утром с Агни-Йогой подмышкой. Там у ее дома был магазин — стекляшка времен оттепели. Мимо него и пробгала худая девочка с некстати упавшими на глаза черными волосами, в некрасивом коричневом пальто трапеция. Одной рукой цепко держала книжку, второй пыталась обуздать волосы против ветра. Девочка смуглая, с тонким носиком и ротиком углами вниз. Девочка помахала мне и побежала выходить зауж.

Через много лет я попала в эти края благодаря старому автобусу. Когда этот сломавшийся рыдван высадил всех пассажиров на углу, я, конечно, не вспомнила бы об этом, если бы не стекляшка. Дул ветер и я отвернулась, чтоб поднять воротник. Из витрины на меня глянула сутулая женщина в мешковатом коричневом пальто трапеция, с большой сумкой через плечо и еще одной на колесиках. Ротик углами вниз упрямо сжался, черные с седыми пополам волосы лезли в глаза. Сердце мое сжалось... “Уна, — вдруг растерянно вспомнила я, — здесь жила Уна, и я дружила с ней. Но это было так давно! Наверно, она умерла”.

Я опаздывала на работу, мне надо было отвезти домой сумку с картошкой, да еще этот автобус. Я метнулась туда-сюда, вспоминая, какие маршруты есть поблизости. Кое-как добрела, стиснув зубы, до остановки, забралась в троллейбус. Мне даже уступили место.

На передней площадке, где стояла кондукторша, послышался в гомоне мелодичный знакомый смех. Он напомнил мне только одного человека, женщину, непостижимую, таинственную, и напомнил именно в тот момент, когда я о ней вспомнила. Я передала денежку на билет и уставилась в окно, борясь с немым внутренним плачем — пыталась вспомнить, что же там было, в первой книге Агни-Йоги. Там шла речь об инаком сознании, о вечном шестесте духовных садов, о том неуловимом и нематериальном, которое есть главная цель жизни.

- Вот билетик, передайте обратно, — жизнерадостно молвила женщина, обернувшись на просьбу и протягивая мне руку с зеленым билетным листочком. Круглое ее лицо розово сияло среди кудрявой копны волос. Бархатное синее пальто, сборчатое, в атласных шнурах, таило в складках растаявший снег. Темные глаза улыбались сквозь очки кареглазо и таинственно. Уна! Это она передала мне от кондуктора требуемый билет и тут же отвернулась.

Я взяла листочек, смяла дрожащими пальцами. Она не узнала меня. Я слишком состарилась за эти годы, наверно я стала возрастом похожа на ее мать, которая сидела в ее альбоме... в таком же бархатном одеянии... А может, там сидела не мать, а она сама? Я не знала, сказать ли ей, признаться — или промолчать. Если бы я сказала, она тотчас припомнила бы мне, как отговаривала меня. А я ведь все равно вышла замуж за своего длинноволосого мальчика, он теперь тоже седой, с диссертацией не вышло ничего, тянет ляжку на телевидении.

Но почему я должна оправдываться? И перед кем? Я сделала так, как хотела, мне никто был не указ, я даже упрекнуть себя не могу, что у меня что-то не сбылось. Вот еще!

Мой мальчик больше не любит меня, да я, честно говоря, и не вспоминаю об этом. Прихожу с работы, включаю кастрюли и телевизор погромче, чищу картошку, печатаю на машинке, отвечаю на телефон, расстреливающий меня пулеметными очередями. Конечно, я изменилась, вот и стекляшка напомнила об этом, но это все правильно...

У меня есть дело жизни, есть дети — пусть они не любят меня, но я люблю их, меня на земле держит немало людей, которые оценили меня наконец... И они могут это подтвердить, заступиться... Заступить, уступить, точно я бабка... Мне уступили место, а Уна, подозрительно молодая — может, это ее дочь? — да полно, нет у нее никакой дочери, быть не может! — стояла у поручней, ее обнимал за плечи интересный мужчина. Есть такие мужчины, чем старше, тем прекрасней — весь седой, брови черные, чуть полноватый, хитрые глаза, что-то говорит ей на ухо, она мелодично смеется, отряхивая цветы и свою бархатную шубу от снега. Никаких при ней сумок, только вот эти сиреневые зимние хризантемки в хрустящем кулке. Да и вообще, есть ли у нее заботы в жизни, кроме самой себя?

Я живу не только для себя. Моя совесть чиста... Но если половина меня сцепив зубы, громко бунтовала и гордилась, то вторая половина съежилась и тихо меркла. Вскоре Уна со спутником вышли из троллейбуса и пошли в сторону бывшего нарсуда. А я — домой, в редакцию, на работу. Каждая в свою жизнь.

РАБСТВО

За десять минут набежала публика самая что ни на есть, даже американка в алом блайзере. Быстрее, быстрее - эти первые слова комком в горле, и как опоздало телевидение опять, это мы пропустим, но дальше пошло все изумительно. Особенно когда робкие дети из английской школы объясняли американке : мадэ хэв э поуим - хе сан мэик драуин - энд Тая, хиз вайф, пут колор... Ес, нау ви хэв поуимз энд пикчез... Английская речь, тихие флейтовые переливы, доносящиеся из скрытого в цветах музыкального центра...

Американка, дизайнер по профессии, всплескивает руками, как птица. Все взволнованы. Хазбенд этой американки очень богат, он может купить что-нибудь у Тани, мастера по батику... Но когда Танин хазбенд бабахнул в потолок шампанским и плафоны полетели прямо на компьютеры, ах, ах... Однако это было вчера, праздник прошел, а сегодня надо писать отчет... Да еще Она...

А вот и Она.. Она сегодня одета хорошо, в синем ватнике на пять размеров больше, в разных цветом валенках, в растянутой шапке-петушке. Она тянет носом и говорит басом, но каждое слово ее значительно и даже торжественно.

- Огурчиков.

В руках у нее красивейшая желто-зеленая банка с листиками и плавающими зубочками чеснока. А еще там игрушечные огурчики и малюсенькие перечные полумесяцы, лучистые веера укропа... Можно долго рассматривать это волшебство, тем более что Она дает время на раздумья. Она понимает, что дело после праздника, а сюда из соседнего общежития приносят много чего — и варенья, и соленья, и промтовары, и золото. В критических случаях, когда жажда велика, а из вещей уже нет ничего, несут простыни и холодильники... Сотрудница вспоминает, что сегодня у кого-то день рождения и потому попадает на крючок.

Сколько-сколько? Шесть? Бедная женщина понимает, что это ужасно дешево, вдвое меньше, чем в лавке, а если разделить все это на других сотрудниц... Соппротивление почти сломлено. Приходящая Она озабоченно считает мелкие и сверхмелкие купюры и благодарно улыбается голыми деснами с двумя черными пенечками зубов. Сотрудница запоздало размышляет, где мадам, такая пьянь, могла взять подобное великолепие, уж не сама ли мариновала? Но мадам Разные Валенки под звуки флейтовых медитаций счастливо семенит к открытию лавки...

Выждав неделю, мадам проникает опять на освоенную территорию. На ней те же разные валенки, но крутая синяя спецуха подпоясана эластичным ремнем, а на голове вместо растянутого чулка красуется лихая кепка с трикотажными ушами и белоснежными буквами SKI. Смятое лицо мадам выглядывает из-под этой кепки как неизвестно что! Но зато она держит в руках эти самые "ски", новые, яркие и провозглашает громко:

- Лыжи деткам!

Присутствующие сотрудницы, полностью лишенные финансирования, малодушно сбегают за стеллажи, а наша знакомая сотрудница со сданным теперь отчетом активно включается в обсуждение. Она утверждает: да, в спорттоварах это втрое дороже, но там с ботинками, а здесь без. Мадам торжествует — то там, а то здесь! Сотрудница хватается как есть, полагая, что можно обойтись в случае и валенками, и дутиками, а как только мадам убегает, подходят желающие поругать-похвалить, и детские лыжи без ботинок тут же перекупают за более высокую цену истинные обладатели лыжных ботинок. Далее являются почти новая камчатная скатерть, совершенно новый уют, почти Roventa, потом дешевый, видимо, краденый, сахарный песок, немецкие коробочки для специй, наскоро отмытые от специй и многое другое, сторевшее в топке абстинентного синдрома. Знакомая нам сотрудница становится все более и более виноватой, потому что самая малообеспеченная, и посему на нее магическое двух-трехкратное удешевление оказывает самое оглушающее действие. Кроме того, она доброе, безвольное существо и не может не сочувствовать чужой нужде. Она понимает, что это значит. Социально и психологически слабая, она сперва идет на риск сама, потом подвергает тому же риску остальных сослуживиц. Втягивается вся контора! Но если контора может не брать, то сотрудница не может не брать. Ибо покорствует бичам.

Проходят зима, весна, лето, экспансия мадам растет. Теперь она уже не просачивается, а входит, громко хлопая подошвами туфель, которые лет пять назад были итальянскими шпильками, на ней невообразимая юбка из деревенской набойки прошлого века плюс черная футболка неясного размера, у которой на груди YES, на спине NO. Отсутствие шапок уличает мадам в полном отсутствии прически, то есть делает ее мадам Бильярдный Шарик. Скоро в конторе появляются сетки крупной свеклы, почти новые немецкие комнатные тапки с цыплятами, тьма целлофанов с Идэн и Крузом. Вся продукция расхватывается довольно быстро и, главное, до открытия лавки. С победным видом мадам уходит, окрыленная легким успехом, и, видимо, решается урвать что-то еще. В упоении она теряет чувство меры.

И перед виноватой сотрудницей через полчаса грохается мешок мерзлых костей. Удивительно, что сотрудница действительно испытывает слабость к такого вида гастрономии и частенько варит крепкие бульоны на костях.

Кажется, мадам Жрите даже не утруждается словесной формулировкой, заранее зная, что покупательница деморализована.

Действительно, между ними давно уже установилось что-то. Ибо один только взгляд из двери заставляет сотрудницу бросить важного посетителя, чтобы торопливо рыться в клеенчатой сумке мадам. Даже бывалые люди переглядываются и бывают неприятно поражены. Более того — сотруднице тоже стыдно и она, торопясь избавиться от мадам Два Зуба, почти не глядя, хватается всякую ерунду... Беседа идет на уровне глаз. Взгляд мадам: бери, дешево. Взгляд сотрудницы: нет денег. Мадам: бери еще дешевле. Сотрудница: не надо, не надо. Мадам: займи, но дай выпить. Сотрудница: ну ладно, давай...

Кости старые, коричневые, лежали в холодильной камере месяца три. А может, они были уже сварены или съедены, испортились, а потом засунуты в холодильник! Сотрудница густо краснеет и отрицательно качает головой.

Но мадам наступает и щелкает, щелкает по пакету. Сотрудница тянет носом и опять мотает головой. А мадам Наглость будто решила ее прикончить и делает глотательные движения и в ее глаза глазах с набрякшими веками - слезы. В ужасе вскакивает сотрудница и убегает за стеллажи, а мадам за нею, хватая за рукав. Деньги тем же таинственным способом, которым владеют цыганки, просачиваются сквозь кошелек сотрудницы и попадают в руки мадам Наглость... Суровая вахтерша наконец настигает зарвавшуюся торговку и выдворяет вон... А наша сотрудница почему-то плачет. Видимо, потому, что на подоконнике, среди цветочных горшков красуется мешок с костями. Он лежит там час и два, начинает таять, растекаться и хозяйка-раба не выдержав, выбрасывает его в мусорку.

Затем она машинально нажимает на кнопку, включает музыку, пытаясь, видимо, избавиться от отчаяния. Флейта завораживает ее волшебным журчанием. Будто кожа проницаема для нежного звука, будто вода через почву - просачивается, пронизывает и лечит... Смотри же, какая сила у нежности, следи, как взлетает она и крепнет. Еще выше, еще шире зыбкие круги, еще ближе к солнцу, в котором ты растворишься... Так поет флейта и напоминает о нетленном, несуетном - среди жизни и тленной, и суетной. Вечером на выходе из конторы она опять видит воплощение своего позора и стучается спиной о дверь. А порядком уже пьяная мадам Дай Выпить подходит вплотную и цедит:

- Эх ты... Эх ты...

Сотрудница наша идет по тротуару и смотрит прямо. Лицо ее горит, потому что она приличная женщина, а идет рядом с такой мадам. Ей, конечно, обидно, что мадам обманула ее доверие и принесла отбросы. Ей, конечно, страшно, что невидимая связь, почти симпатия, почти "снисхожденье богатой к нищей", почти жалость-доброта "к простому народу" кончились. Она уже сделала рывок и попыталась выйти из зависимости. Но волей-неволей ей, мягкой и снисходительной, приходится признавать, что есть люди, не достойные ничего, даже милостыни. И такие люди, как мадам Обдеру Карманы - свободны, а вот она, тактичная и чуткая - раба. И все это видят.

ИНТЕРН

Бронтозавр в ущелье города. Неповоротливое нечто, задевающее крыши и ломающее деревья. Крыши, покореженные массой, дыбятся и съезжают со стен, внутри дыбятся и падают вслед книжные стеллажи. Тресчат и ломаются деревья, хрустят столы и косяки. Потому что горбчатый хребет и хвост не могут уместиться в этом ущелье. Потому что ужасный холод, а от стужи бронтозавры вымирают, лопается их панцирь. Да и кому нужны библиотеки в ледниковый период? Человеку уже ничего не нужно, ибо нет человека. Только вечный холод, мрак и безмолвие...

Просьба читателя поражает до онемения.. А читатель вовсе потусторонний: просит не книг, не журналов, но звуков для души. Не читать хочет, но слушать. Нет, не классику опер и романсов. Не проповеди Меня. Что-нибудь фоновое. Скажем, восточные медитации, флейтовые либо синтезаторные, типа "Вечной реки радости". или "Храма поющих сердец". Да, обещает сидеть в этом кресле, но не вымерзнуть... Курточка легкомысленная, не ледниковая..

Тихий молодой человек скоро погружается в звук и надолго уходит из внешнего мира. Через высокую стеклянную дверь можно видеть, как слушает он. Печаль, ирония, отчуждение, покой — слабыми волнами идут по белому лицу, а южное лицо узкое, обрамленное черною бородкой, черные же волосы назад и лоб чистейший, высочайший. Глаза погильбелю ночного тропического неба, да явные круги под ними, отчего глаза больше.

Отрешенно листает тяжелые конспекты, затем берясь за лоб, включает свой блок питания, начинает стремительно писать. Он работает, работает, а работать он может только в специально созданной среде. Получив эту среду, он уже не останавливается. Не замечает минусовой температуры, хотя кисти узких рук фиолетовые. Его пора спасать — чем угодно, хотя бы чаем.

Дымящийся стакан на постороннем блюде, конфета цветным хвостиком кверху. Он смотрит сквозь, не понимает. Чай выключает блок питания, тормозит бег авторучки. Жестами: чай — пар — вам пить — тепло... Он быстро думает — что вы, мне не холодно! Но берет обжигающий граненый стакан и лицо внезапно просвечивает улыбкой — не чаю, самому себе.

Такие читатели редки. В ледниковый период вообще читатели редки и вставшая в анабиоз библиотека скоро привыкает к фантастическому интерну. Он сидит здесь от открытия до закрытия, припав к музыкальному центру как к печке — между ними густые нити магнитных полей. Лишь изредка листает журналы и книги по медицине, больше пишет, что-то изучает в тетрадах. Когда одетые и закованные как бронтозавры сотрудницы несут ему чай, он медленно выходит из своего "внутривенного" потока и с жалобной неземной улыбкой слушает их служебную чушь.

Наконец холод ослабевает и выходящая из анабиоза библиотека взирает на пустое кресло интерна. Зияющая дыра отсутствия! Онемевший музыкальный центр, кассеты стопкой. Привычно принесенный

чай отрешенно парит, выдыхая последнюю надежду. Полированный ящичек простодушно протягивает формуляр уехавшего интерна. Это все, что осталось.

Батареи заполняются теплом, зал студентами, столы книжками, а его кресло пустует. Оно проваливается свистящей ямой и символизирует невозвратность. Библиотека хлопает дверями как глазами, не умея проморгаться от потери. Пусть бы сидел не от мира сего, можно ходить на цыпочках, говорить шепотом, приносить кипяток. Только бы он сидел здесь, хватался за ясный лоб и за музыку, и все бы забыли о бронтозаврах, о ледниках, поверили бы в материальность мысли...

По весне открывается выставка — среди формальных гостей, зевак и хохочущих старшеклассников появляется безмолвный интерн, снимающий картины на видео. Он двигается тихо, не брякая дверью, одним взглядом понимая, что надо сделать. Переносит кресла и цветочные ящики. Чинит аппаратуру. Слушает старого барда, седого мальчика, романтика, не осмелившегося стать известным — тот ловит транслируемые волны и выкладывает всю душу.

Интерн, сделав срочные учебные дела, впитывает в себя все, что творится в провинциальной окраинной библиотеке. Покупает эзотерические книги. Ими заставлены здесь целые полки и никто до него не интересовался. Снимает на видео вечера. Печатает для администрации длинные конторские тексты. Стоит ему показать компьютер, как он ныряет туда на многие сутки. Сидит на литературном собрании, преодолевая усталость и досаду от агрессии и тщеславия пишущих. Отсветы, тени по ясному лбу, пятна на скулах. Потом является забытая им газета — он тоже в прошлом поэт...

Почему так много всего, почему отдача его больше, чем взятое... Все понимают. Он может взять это с собой, он поедет в глухое село лечить людей от болезней, чем там жить?.. И отданное будет так же питать, как и увезенное...

И вот тихий обвал. Он уезжает. Щуря мерцающие очи и спасая библиотеку от их негасимого огня, сутуля спину и шелестя несерьезной курткой, интерн переписывает на новую кассету и оставляет здесь свою любимую фоновую музыку, затем молча идет вдоль окон, исчезая в хрусте тающих сосулек.

Что за музыка, какая музыка отвлечет от потерь, от боли, от ухода неузнанного, неоткрытого и теперь уже окончательно закрытого мира?..

Но это же просто легкая романтика, песенки знаменитого футболиста, любовные руды испанского соловья, серебристая гитарная россыпь. Никакая не классика, просто легкий жанр, как о нем презрительно говорят. С точки зрения шестидесятых чуть ли не рок-н-ролл, ушами семидесятых — попса, восьмидесятых — музыка мягкого дивана, девяностых — уже ретро. Десятилетиями поющий певец поменялся вместе с восприятием публики. Вот Рафаэль не менялся, испано эстрада, он блеснул и исчез, а в Иглесиаса можно было вслушаться за двадцать-тридцать лет. Хотя дело не во времени...

Все это легкомыслие сбивает с толку, поскольку ожидаешь то ли хорала, то ли органа... Но тут никаких похорон, все очень смешно, озорно

и нежно, лепет струй под сенью крон, временами жаркая эспаньола переходит в резкую цыганщину, визг, мексиканские бубны...

Эти пальцы белей луны / Набивали конторский текст / Эспаньола быстрее волны / Донесется до ссыльных мест / Ах гитарное серебро / Да небрежный любовный свист, / Чье-то взламывают ребро / Слишком тих ты и слишком чист...

Становится даже неловко. Потом под чувственные мелодические взлеты все вспоминают: испанское не случайно, недавно была годовщина Эль Греко, вот на кого он так был похож, этот интерн, подумать только, здесь, в углу, и выставка была, и портрет великого испанца...
Зачерни тот текст сохрани / Чтоб открыть улыбку опять / Удержать бесценные дни - / Рисовать тебя рисовать / Дико бледен и дивно слаб / Ты исполнишь роль хорошо / Аскетический эскулап / С полотна Эль Греко сошел...

Ну вот, вот опять мистика какая-то!.. Как будто сам он тут сидит, излучая немые улыбки, шелестя конспектами... Да и вы потише, не мешайте ему витать внутри себя, идите тихонько, тоже займитесь чем-нибудь по распорядку, дел полно. Цветы нужно полить, на крайнем кусте такой слой пыли, на этой деве радости. Загляните в каталог, пришла тьма изменений, стопа новых карточек. Зафиксируйте все выполненные справки, начните писать отчет за полугодие, ведь таблицы он вам уже напечатал.

А ведь и правда легко работать с этой эспаньолой, ностальжи, ла карретерой, или как ее там. Вот вы уже спрятали глаза, засмеялись, дрожа плечами, вспомнили что-то. Вы, сердитая начальница читального зала, обиженная молчанием моряка дальнего плавания и весом старой родинки, неужели это вы внезапно входите, вздев руки, с разбегу танцуете, не снимая плаща. Забываете о своих передрыгах. Теперь не рутина, не скука, а вечный праздник царит здесь — праздник весны, музыки, беспричинного зажигательного смеха...

Оглянись же шепчу вослед / Ну античная голова / Не сидеть тебе много лет / Целовать тебя целовать...

ДЕКАДАНС

Говор, шумон и сверк. Хитроумная плотинка толстого стекла отгораживает часть водоема. Над ней волны несутся, но долетает только нежная пыль. Чуть дальше спуск ступеней и струй, освобожденная вода падет на камни, в рев, клекот и пение. Ровно пение вод, ровно и выпрэнно пение в саду. Кто-то играет на расстроенных клавишах, дребезжа металлом струн и связками, звенящими от слез. Обширный старый парк как карнавал жизни на фоне зова судьбы.

В беседке какие-то женщины говорят пылко и гневно, речь напоминает французскую, руки переплетены, платья -- ветхое старье. Находят тучи, дует ветер, птицы механически скачут в траве, а они все говорят и говорят... Вечность уже говорят. Вино возле них не тронуто.

Поодаль две молодые пары любят друг друга на виду у всех, точно они ливерпульская музыкальная богема. При этом они еще умудряются окликать и вышучивать друг друга, и вина им явно не хватает.

Празднество громоздко, цель его забыта, и толпа разодетых людей рассеянно впиталась в сумрачный парк. Издали струнный оркестр -- не из одной точки, а как бы отовсюду, рассеянный и умноженный эхом. Трещат салютные выстрелы, нервный розовый огонь отражается в чьих-то глазах, устремленных вверх. Иногда это парализованные мечтатели, иногда разгоряченные сластолюбцы. Сил ни у кого уже нет, а вечерон все ветвится, ветвится, взметая шлейфы.

К плотине бегут двое. Еще один сюжет, начавшийся за столом! Сначала застольные драмы. Потом диванные страсти. На женщине глухое, длинно-черное, на мужчине распахнутое просторно-белос. Она вроде убегает, но переводя дух, следит за ним. Он догоняет, но как только она оборачивается -- лениво откидывается спиной на первый попавшийся ствол. Наконец она, сильно дыша, приближается к толще плотины. Он крадется следом и вдруг обнимает так, что не вырваться. Жаркие препирательства, фразы сквозь зубы, ее выгнутая спинка, тщетные попытки ударить.

Их ссора заурядна -- она дразнила его, привлекая и одновременно наказывая. Он же, уверенный, что его успех -- плод лишь его гения, оскорбился необходимостью платить -- пасть перед женщиной... независимо от того, обязан он ей или нет... Она пыталась сопротивляться, став наконец искренней, а он уже не верил. Мужчины инерционны. Женщины ничему не подвластны.

- Вы не посмеете... насильно...

- А вы повторяйте: когда на темной улице! Настигает дикий араб!

- Я не навязывалась вам в учителя, вы сами...

- Бо-бо-бо, я не хотела быть палачом, но так вышло...

- Да не смейте же.

- А кто у вас на очереди? Вот этот бородатый?

- Ну больно же. Человек вы или кто.

- Для старой светской выдры у вас кожа слишком абрикосовая. А белки сверкают... а волосы... мм...

- Поплачьте еще... Люблю, когда с слезах отдаются...
- Быть от вас без ума и вот так на ходу, у плотины...
- Да не врите хоть сейчас, весь вечер смотрели как наркоманка на морфий...

Дальше все идет без слов, остаются одни стоны. Пятнистый летучий сумрак сгущается, струнные заливают безветренный парк церемонной музыкой прошлого. Она томительна, сладка до нытья суставов. Она как густое сладкое вино, которое бурунами в стакане, а над стаканом только запах, дуновение, а над водопадом только пыль, а над деревьями, в эфирных струйках - то, чему нет места внизу.

Внизу тела плотной укладки, вулканы амбиций, гейзеры эмоций. Плотность слов превышает плотность воды, плотность воды превышает плотность чувств.. Вверху все чище, разреженной, как в высокогорном воздухе, резко, горько, беспечально. Сверху видно лучше, иные страсти растворяются в воде, исчезают...

- Почему я не ушла сразу? Зачем я вообще здесь? Работа пошла прахом, праздновать больше нечего. Весь этот прием безумие. Мне не надо было соглашаться. Пошла на жертвы. Достала роскошное платье, уговорила мужа. Стала посмешищем в обществе. Сама стала жертвой.

- Кто она? Дразнила меня, теперь плачет. Считает меня злодеем, а я не мог от нее отойти. Это она использует меня в игре с мужем. Теперь придется платить за этот парк страшную цену. Муж меня прикончит.

- Какой парк изумительный сверху. Как пустынно и светло. Милый оказался жестоким. Он не умеет жалеть. Жалеть могу только я. Далеко мы зашли.

- Мы зашли совсем не далеко, только прикоснулись и уже надо уходить. Но можно запомнить.

- О чем эти женщины в беседке? Они сильно любили друг друга, эти грешницы?

- Отринули весь белый свет и уже никто не узнает их пропасти, их взлеты. В стихах то, что их свело. Что их свело, что? Не то, что нас...

Поразительно: падают в водопад одни, всплывают другие. Точно их заставляя кто-то кинуться и зажать друг другу рты, захлопнуть шлюз, запереть слова - потоки отравы и велит рукам обнимать неблизкие тела, и словно читать, и жадно глотать идущий изнутри неколебимый плавный жар, запечатывая ртами секретные места. Прильнуть - отомкнуть - испить - запереть. Нагнуться - припасть, вдохнуть - и устать. Взлететь - умереть, дрожать - перестать...

Теперь они тихи, как два сообщающихся сосуда. В них поровну спеси и жалости, прожитых лет и слабых надежд, наслаждений и беды. Юный на глазах становится старше от своих предчувствий, складки пересекают лоб, впалые щеки твердеют. Более взрослая она туманится, как омытая пролетевшей бурей, молодеет страхом и румянцем. Только что вырвавшаяся из объятий, она задерживает его руку. Только что срывающий с нее платье, он пытается его застегнуть... Они не смотрят друг на друга, боятся.

- Ты была... нет слов. Недостойн такой, как ты. Ты смотреть на меня больше не сможешь. Ты решила наказать меня. Но я не стану каяться.

- Ты подарок. Сама нежность. Я готова смотреть на тебя, считать твои родинки, волоски. Случилось непоправимое. Ты похож на моего сына. Я тебя хотела вырастить, пойми. Нельзя спать с невинным мальчиком... Каяться буду я.

Ночь белеет и исходит зябким дымом. Чадят забытые лампы, поскрипывают кресла-качалки, с шумом просыпаются деревья. Вдоль стеклянной плотины струи гонят нелепые бумажные клумбы, картонные стаканы и коробки от сока.

Никого нет в заспанном парке, только эти двое, и они идут, шатаясь, в разные стороны. В сияющей жемчужной пыли над плотинкой проступает слабый радужный мост, он плывет выше и выше - туда, где живут только эфирные струйки. Не слышно больше струнных, но в тишине переливаются другие, едва слышные звуки. Они похожи на колкую жалобу разошедшихся струн, на клекот и мелодику сонной воды. Они проникают внутрь, минуя уши, подобно волнам. Они незаметно заманивают в иные слои существования. Там, где нет других звуков, кроме арф и детских chorov.

- Он думает, мщу, заплакал от ревности. Но я сама виновата, что все погубила, и его погубила, надо молиться теперь, Боже, простишь ли ты меня, низкую, не ведаю, но его не наказывай, он такой ребенок.

- Она врет, что я это лучшее. У нее таких много. А она единственная. Я как животное взял ее, а она вместо меня - каяться. Господи! Она не должна страдать из-за таких, как я. Она должна сидеть на подушках, а я - пасть перед ней на колени. Я не переживу, я должен вернуть ее. Вернись! Господи, верни ее...

-Я чувствую, как он умирает, его боль ощущаю как свою. Ау, мое сердечко, не рвись. В водопаде мы задохнулись, чуть не умерли. Судьба подсказала нам другой путь, а мы не расслышали. Теперь надо искупать грех телесный, и Бог простит нас, и мы найдемся. Прости меня, милый. Ты голоса моего не слышал, а теперь ты слышишь меня даже молча.

Когда люди близки чувственно, души их одиноки и брошены, болтаются в серой поземке и стыннут. Когда люди расстаются телесно, они встречаются душами астрально. И вечный их разговор отныне лишен злости и недоеврия. Услышанный уже не потеряется.

Если опускать взгляд, то вскоре он уткнется в зримый предел. Увидится неподвижность камня или колыхание воды, а под ними версты глухой тверди, может быть, дальне угадается расплавленная пучина. Это конечная остановка.

А когда на вязкой земле сладкое вино жизни выпито, жизнь отрывается от привычной поверхности и легко поднимается ввысь. Если подниматься еще, туда, где неясные тени парят над нежной кисеей водопада, и выше, выше в стремительно засасывающее нечто - граница так и не появится, потому что ее нет. Низкое конечно, а высокое длится без конца. Поэтому этот путь заманчив, а сияющая цель отдаляется с такой же ровной скоростью, с какой ее хотят приблизить.

ЗАКОУЛОК

Закоулок возле гигантского института возник тогда, когда его администрация перекинула крытый переход из одного здания в другое. Бывший подъезд стал крытой верандой: лестница, перила, скамейки и наглухо заделанная дверь, над которой витой чугунный фонарь. Как сцена. А мои окна напротив, все хорошо видно и слышно. Стоит только отодвинуть шторы...

Сегодня днем, например, там продолжительно ссорилась молодая пара. Оба разодетые, как дикторы, оба в длинных пальто, он с кейсом, она с нарядным сундучком, в ярком макияже. Сначала договорились о том, куда пойдут обедать, потом, повысив голоса, обсуждали родителей, у которых они живут по его, а не по ее милости, и вот, дошло до того, что даже поесть негде, а приходится посещать забегаловки. Потом он сказал ей нечто на ухо и получил за это пощечину. Долго целовались. Видимо, решили больше не обедать никогда в жизни...

Девочки дошкольного возраста раскладывали своих кукол и их одежды. Их стал обстреливать камешками узкоглазый мальчик, которого не приняли в тряпочную жизнь. Две малышки расплакались, а одна внезапно подскочила к пулеметчику надавала ему пинков. Тот грубо толкнул ее на землю, но сам тем не менее убрался. Сгрудившись, малышня жарко шумела, переживая победу. Бомж завистливо посмотрел на их возню, потом, не желая им мешать, примостился со своими мешками внизу, на ступеньках. Занятая собой, малышня обнаружила это не сразу. А потом тут же стала действовать испытанным способом — кидаться камнями. Бомж, едва успев пожевать свои объедки, сгорбившись, уплелся... В закоулке шла своя маленькая жизнь и проигрывались модели большой и неизвестной жизни. Я человек пожилой, плохо видящий, телевизор смотреть не могу, и не только потому, что от него болит голова. От него на улицу страшно выходить! Мне приходится ходить в поликлинику, за пенсией. Дачу я продала своей хорошей знакомой, когда пришлось лежать два месяца в больнице. Иногда она заходит, приносит мне оброк с моего участка, вот смешная, до сих пор радуется этим кандалам. Я же свела до минимума общение с внешним миром, мне осталось жить самое большое лет десять, и я хочу отдохнуть перед уходом. В моей жизни сейчас все прозрачно, как в отстоявшемся безжизненном водоеме. В моей жизни самое главное теперь — это я сама, как жаль, что раньше я этого не понимала. А почему — об этом я говорить не буду, я должна себя беречь от лишних потрясений.

Вечером, когда я только расположилась поесть сыру и попить горячего на ночь, за окном послышались детские голоса, это было странно в такое позднее время. Я тут же выключила торшер, отогнула бархатную штору. Мимо закоулка шествовало семейство, видимо, с вечеринки. Я знала их как соседей, живших в том же доме, что и я. Детей было трое, они ожесточенно толкались и вырывали друг у друга сладости. Муж угрюмо смотрел под ноги, жена вертелась юлой, то заглядывая ему

в глаза и одновременно пытаюсь утихомирить детей. Я тоже в свое время вот так же тратилась, и к чему пришла? Впрочем, речь не обо мне.

Семейство двигалось рывками, дети взбегали на поребрики и веранду, ломали чохлые дворовые деревца.

“Мы говорили о японском театре, — твердила жена, — о японском театре, слышишь. А потом о том, что в театре их заставляли сочинять и тут же играть этюды, представляешь. А некоторые на это годы тратят.” — “Вот это действительно театр, — бормотал муж, — то, что я вижу и слышу сейчас”. — “Да нет же. Я давно мечтала с ним поговорить. У этих театралов совсем другое мышление, более активное и глубокое.” Муж не отвечал. Дети дрались. Они ушли в свою грустную темнь.

Двор погрузился в тишину, только из верхних окон института, проливалась знойная латиноамериканская музыка. Научные сотрудники праздновали что-то, отзвук их праздника делал двор таинственным и волнующим. Закоулоч, освещенный сквозь чугунные завитки, смотрелся как прощению.

Вскоре прибежала давешняя женщина и с плачем бросилась на скамейку. Воображаю, какую головомойку получила она от муженька. Ни себе, ни детям толку дать не может, а туда же, о японском театре толкует. Она вылакивалась долго, мне уже надоело и я было ушла от окна. Потом на верхнем этаже, видимо, распахнули фрамуги и чужой праздник стал громче. “Мы эхо, — лилось волшебю, — мы эхо... Мы долгое эхо друг друга.” Анны Герман давно нет, а ее продолжают любить как живую. Почему она выговаривает слова без акцента, а все равно ясно, что она не русская? Потому, что она утонченное существо, в ней нет бабства, как в Бабкиной, как во всех прочих нынешних дивах такого сорта. Герман выдыхает слова, она самозабвенна и простосердечна, и это ничем не заменить, не подделать... Это единственная певица на свете, мне все равно, что она поет, мне хочется слушать все, что она поет...

Женщина сидела на той же скамейке, прислонясь головой к столбику и слушала музыку вместе со мной. “Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна...” Мне показалось, что если я могу ее понимать, то и она меня. Мысленно как бы заговорила с ней. Ну что, глупенькая, не пора ли тебе опомниться? Ты ведь еще не так стара, как я. Так ли уж надо быть рабой чужих представлений?

Медленные движения, которыми она вытирала глаза, нос, механически складывала платочек, говорили о том, что она вроде бы успокоилась, даже поправила юбку, волосы. Она отдыхала от скандала и размышляла о чем-то. Трикотажный костюмчик местной фирмы, полускрытый тенью фонаря, намекал на прошлую красоту и страстность этой женщины, и, как оказалось, это заметила не только я.

Шаркающей расхлябанной походкой к ней приблизился неприлично молодой, откровенно южный человек в головы до ног в американских надписях и отвратительной золотой куртке. Он постоял, пошевелил пальцами и сел рядом. Не поодаль, не напротив, а рядом, потому что это такое поколение, им все можно. Она не шевелилась.

- Печальная, — заметил южанин.

Ему хотелось поговорить, а он не умел. А ей не хотелось. Он попытался объяснить, что она еще ничего.

- Уйди, — коротко сказала она.

- Он тебя бил? Ты не просто тут. У вас ссора.

- Ну и что?

- Ты можешь намстить грубому мужу. Со мной.

Она отвернулась. Музыка звучала летящая, легкая, по старому это как скрипки, как ксилофоны, а теперь это все называется синтезатор. Из объемной сумки-рефрижератора южанин достал сигареты, закурил, протянул ей, она не взяла. Он погладил ее по руке. Она отодвинулась.

- Я некрасив?

- Ты очень красив. Ты высок и строен. Твои волосы сверкают как антрацит. Они кажутся отлитыми из металла. У тебя глаза широко расставлены, а переносицы нет, нос идет прямо ото лба. Ты похож на олимпийского бога.

Южанин отодвинулся подальше и стал ее пристально разглядывать.

- Ты знаешь слова! — сказал он удивленно.

- Я люблю слова, — сказала она.

- А люда́й?

Она только вздохнула.

- Некоторых. Раньше любила всех и заранее, а теперь устала. Не в том смысле, как ты сказал — намстить. А по-человечески, сердцем.

- Если б тэпэр было раньше, ты любила бы всех и мэня тоже. Но тэпэр поздно.

Он замолчал, обхватив голову руками. Полез в свой рефрижератор, достал... большой пласт бананов:

- На. Кушай. Не смэй отказать. Вино хочешь? Как хочешь.

Видя, что она молча держит эти бананы, отломил и снял лепестками шкурку.

- Ешь, сказал. Ты очень пэчальна, тебя отучили любить. Но раньше было у тебя. А у меня и тэпэр нет. Ты сказала красив. А нэт ничего!

- Брось убиваться, — сказала она, машинально жуя бананы, — ты молодой, тебе наверно, лет двадцать пять от силы.

- Двадцать!

- Не встретил еще.

- Трэтый год как встрэтил. Дом есть, видео есть, две шубы есть, а... ничего нэт. Дэти не хочет, смеяться не хочет. Нэ живет, отбывает.

- Думаешь, не любит?

- Нэ любит. Дает, но нэ любит.

- Наверно, ты что-то не так сделал.

- Все сдэлаал. Тэбе муж твой так не сдэлаал, как я ей. Скажи, есть шуба?

- Нет, мы мало получаем, мы бюджетники, и у нас дети, да я еще книгу напечатала...

- Нэт, я не знаю такой народ, бюджетник. Твой муж не работает. Я пять киосков открыл, у меня грузы круглые сутки идут в город... Ты слушай. Ты — пэчальна, я пэчальны. Но я дам тэбе на шубу. На. Тут пять лимонов.

- Отстань, ради бога с лимонами, ты с ума сошел. Я не могу с тобой спать за бананы, за лимоны.

- Э-э, какая. Я нэ прошу спать. Прошу взять лимоны на шубу.

- Не нужна мне такая шуба.

- А что тебе нужно?

- Книжку...

- Книга? Пусть книга.

- Нн... Не могу. Как я объясню? Что муж скажет?

- Э-э. Скажи — ты нэ любишь, другие любят.

- Нет!

- Пачэму нэт, слушай! Я могу один раз сделать?.. — Южанин развел руками, как дирижер.

Вдруг женщина вскочила, прислушалась. Издали послышался крик “мама”. Потом в закоулок вбежала девочка, и бросилась к женщине на шею. Сейчас все кончится. Герман зря пела этой глупышке “Один раз в год сады цветут”. Видимо, эта особа надеется жить вечно и при этом вечно презирать материальное...

- Мама! Ты ушла! Ты не хочешь больше жить с папой! Но ты иди тихо, он спит уже.

- Тише, детка, никуда я не ушла, я просто хотела одна поплакать. — Она обнимала и гладила девочку, которая была в ночной рубашке, в куртке, в тапочках в цомпонами.

- А почему этот? Он кто? Пристаёт?

- Да нет. Он просто бедный. Пойдем домой.

- Куда? Дэнги твои...- Южанин загородил им дорогу. Женщина оставила девочку и обернулась к нему.

- Послушай, Ашот, или как тебя. Я не могу брать, не заработала. Ты не расстраивайся, лучше поговори с женой. Что со мной говорить! Я чужая. А ты скажи ей, скажи, как ты страдаешь, она пожалеет...

Она уже сама готова была пожалеть его. Из обиженной, загнанной тетки незаметно превратилась в утешительницу и теперь была сильнее этого красавца. Теперь он не только не стал приставать бы, а уже сам готов был упасть на колени. Но при дочке беседа сломалась. Женщина бросила, точно милостыню, сухие слова и сердцем была уже далеко отсюда. Она как будто стала красивей, ветер трогал за волосы, плечики пошли назад, подбородочек вверх, глазки округлились. Ее нужность кому-то — потрясающее средство, как легко выплыть из пучины отчаяния, если в ней нужда. Давай, глупышка, беги из закоулка радости в свою рутину. Боишься рискнуть, из своей колеи постылой выскочить?.. Научные работники к тому времени уже явно перестарались и после романтической музыки перешли на ресторанный ор. Звуки становились все громче, все надсаднее. Итак, ночь подешевела, откровения иссякли....

- Стой! Нэ ходы! Я нэ все сказал, я только...— Он схватил женщину за руку, но не как хулиганы хватают— за предплечье, одежду, — а так просительно, двумя руками за ладонь. Но дочка дернула сильнее и утащила мать. А южанин сел на скамейку, бросил деньги в рефрижератор и прислонился спиной к столбику. Кажется, он больше не собирался никуда идти.

Спектакль закончился. Я улыбнулась и закрыла шторы.

ОМОВЕНИЕ

Сон ли, явь — высокие двери медленно пропускают в огромное и гулкое. Долгие лестницы и серые клетчатые коридоры напоминают вывернутый наизнанку кроссворд. Входящими овладевает растерянность, присущая всем неискушенным в кроссвордах! Несколько женщин вереницей появляются и начинают свои невеселые хлопоты — кто медленно разбирает свои пакеты, кто развешивает одежду по крючкам. Потом овальные тазы с варом тащат, обдают варом каменные мавзолеи, снова тащат, снова обдают, это длится без конца, как будто несчастные пришли мыть не себя, а мавзолеи.

Они, обнаженные - либо смутительно хороши, либо трагически уродливы. Мелькание барбиных ручек-ножек заслоняется плывущими горами теста... или кто-то облил их густой манной кашей. Смотреть на них нельзя. Это напоминает неизвестно что. Только не то, не то, что надо.

Здесь один выход - смотреть под ноги, под ноги, тереть их комом проволоки. В дыму, удушливых испарениях и жирном блеске тел не видно различий чистого и грязного, да все тут одинаковое. Ощущения потеряны, осязания нет, скользко. Только клекот, плескотня, угрожающий ширк воды. Хлещут мыльные потоки по циклотку, а в них несутся спутанные волосы, черные, русые. Волос же с людей ползет, как со зверей... А вместе с ними еще что-то лишнее, поганое, но оно так цепляется за каждую по пути к стоку... Это лишь первый круг вонючего ада.

Выпученные глаза окостеневших на мавзолеях старух. Сонное гудение красных жалобных детишек. Гром овальных жестяных посудин. Изредка хохот и визг сотрясают своды.

Второй круг ада еще не пройден. Но там царит бездействие. Стой себе, прихватывая пальцами жгущие огнем цепочки. Подруги по несчастью сидят и лежат молча, на всех намотаны чалмы. Тела как в клею, густо усажены твердыми каплями пота. Опять едкий, теперь мятно-эфирный запах. Одна растирает тело кремом, кто же ее надоумил — здесь, где поры открыты и кожа хочет жить-дышать самостоятельно. Свербит и щипает нос!

Другая говорит с подругой о костюмах, которых нет ни на одном прилавке, цены называют ненормальные. Здесь и молча быть тяжело — а она трещотка невероятная, уши гложнут.

Впиваются ровно шмели забытые-неснятые сережки, жалят!

Профессионалки, гордо отстегав друг друга пучками толстых прутьев, исполосовав багровыми рубцами, не спеша покидают деревянную комнатку. А глаза и без всех этих процедур выкатываются из орбит, во рту распухает, начинается стремительная ангина... Нечем дышать. Перед глазами лопается и плывет. Надо выбираться... Нет, не сюда - тут каменка электрическая, упадешь, только дым пойдет... Так, нырнем на волю из кошмара... Из второго круга да в первый.

О, как женщины задирают ноги на свои мыльные мавзолеи, как они неуклюжи, напоминают забытые у сарая коряги, как не боятся быть некрасивыми. Они трут себя белыми комками и соседняя кожа дрожит и трясется! Они совсем не таковы, когда нравиться хотят, тогда они прямые, затаенные, полуприкрыты, плавные, а здесь... Впрочем не всем покажется, что они отталкивающи, довольно найдется и любителей подглядывать... Смаковать этот невысказанный танец - танец дикарей, в котором напрочь отсутствует всякая пластика, но они часами рьяно исполняют его под туземную музыку барабанов, бубнов и протяжных низких голосов...

Прочь, мимо, мимо, горящим телом в холодный бассейн. Но разве это бассейн? Это опять же мавзолеей со скользкими перилками, а в воде — чужие волосы, отпавшие за ненадобностью, и они цепляются за уши, за пальцы. Да и вода уже не холодная, и слишком мыльная...

Надо бежать еще дальше, упасть на лавочку, теряя сознание.

Они воображают, что сейчас уйдут отсюда, сядут чаи дома пить, чистые, отдохнувшие. Они будут друг другу говорить секреты, а эти секреты тоже убоги и прилипнут как чужие волосы.

“Ах, милая, ты бы знала какой он зверь после командировки, орет на дитя за телевизор, его джинсятами кидается. А я ведь все дома, дома, все для него...” -- “А ко мне опять этот приезжал, когда моего не было. В гараже, в машине, целых два часа. Но мать его зато опять гулять ушла пьяная с ребенком. Весь вечер их искали... Дорогой ценой, милая, счастье достается...”

Они будут говорить, говорить, важно кормить детей, потом засидятся. Одна уйдет ночью, прижимая спящее дитя, а вторая жутко обомлеет, найдя в неработающем холодильнике забытую протухшую пикшу... А потом их мужья будут их поочередно бить, потому что секреты одной прилипли к другой, и они отсутствовали долго, и вдобавок стали вдвое грязнее. Потом более жалостливая, на которую все налипло, станет угнетаться и сходить с ума... Потому что нет и нет места, где с человека сходит грязь внешняя и внутренняя - полностью, все это видимость...

Но хорошо по крайней мере то, что помучившись раз-другой в подобных кругах ада, поймешь - туда уже не стоит идти снова. Омовение возможно где угодно, только не в бане. И еще одним тяжким безмыслым обрядом меньше.

ЗОЛОТАЯ КОМНАТА

Судьбой подаренный шанс — еще раз увидеть их. Придешь тут в отчаяние, когда приехать никто не в силах. Вот сейчас это точно за гранью возможного, как цветы на чужой клумбе из поезда, летящего мимо. Но тогда все казалось незабываемым, ясным, как праздник.

Праздник немой, неназванный и невозможный, в воздухе мягкий золотой свет. У всех присутствующих ласково-внимательные лица: все боятся спугнуть праздник — кратчайший момент, когда забыты раздоры и горечи... В такие минуты исчезает обыденность, царит одухотворенность. Трудно представить, что все мы после этого вскочим, вырвемся из золотой комнаты, грубо закричим на детей и погоним их обедать, а они снова подерутся...

Это потом. А пока мама с папой опять пристраиваются по краям нашей немаленькой компании, хотя они тут самые главные. Это их идея — собрать нас всех здесь и сейчас. Мама обиженно-гордо молчит, очки все-таки не сняла, она явно не хочет, чтобы мы запомнили ее пожилой, с глубокими морщинами, мешками под глазами. Да и очки славно-удивительно ей идут — ее иконнос и строгое лицо становится еще тоньше, еще собранней. Кстати и коричневая полупрозрачная оправа очков, будто нарочно подобранная к ее новому платью. Тонкий блео-коричневый лиственный узор прихотливо струится, взрываясь мелким горошком.

“Хороший шелк, — говорит по дороге мама, — нежаркий, неэлектрический. Но дороговатый.” Мама по-прежнему боится тратить на себя, у нее две взрослых дочери — это я и моя младшая по рождению сестра, которая старше по жизни... Но шлепящий японскими листочками шелк мама все же не отринула, и незаметно-удобно легли на него мелкие белые бусы под жемчуг... Ну извини, извини, конечно, не “под”, а настоящий жемчуг, потому что маленький, неправильной формы, это крупные белые — те “под” жемчуг. Рукава подвинуты высоко к локоткам — мама любит на три четверти, и меня приучила к таким же: независимо от фасона, я тоже теперь подвигаю их повыше либо вообще обрезаю.

Стойте, а серьги ведь такие, жемчужные! Это откуда? “Случайно!” — будет восклицать мама, но я-то знаю — она всегда все берет про запас, и эти серьги, она купила три года назад, когда бус не было в помине. Точно так же было с моими декоративными цепями — они лежали себе в шкатулочке, а потом были отданы мне к моему белому платью. Хорошо, хорошо, я не спорю, или потом разберемся...

А что это папа такой грустный сидит? Кажется, еще вчера был не против этой затеи всем собраться именно по этой причине. — “Да отстань, доча, — будто говорит он, — мне просто жарко в новом костюме, летний называется.” — “Правда! Ведь прежний у тебя был не такой. А этот с косым накладным кармашком... Но тогда зачем, если в нем жарко?” — “Не видишь, коричневый.”

Я поражена. Действительно, это так — одежда на них обоих в коричневых тонах сегодня! Не мама ли со своим железным характером

настояла на этом? Помню, и у меня с милым было что-то подобное — у него небесно-синий костюм, и у меня платье с синим корсажем и жилеткой, мама говорила — “кантилена”.

Коричневая кантилена папы и мамы и вообще соблюдение такой кантилены — это неумирающая семейная черточка. Так что костюм новый у папы — это событие непростое, не будь его, пошел бы в рубаше с коротким рукавом, а вот галстучек с крохотной японской веткой — давний. Неужели еще и с этой ветки слетел листочек, вторя маминой листве?

Да, представьте, слетел. И я тоже слетела с их ветки, оторванный листок, ни в мать, ни в отца, оба приличные люди, а я до таких лет дождала — никаких достатков, ничего не добила.

Моей черноглазенькой дочке пришлось надеть чужое платьице, своего ничего красивого у нас нет. Находчивая сестра прицелилась, выхватила из необъятного шкафа нечто белое в бантиках и оно тут же пришлось впору. И подала газовую ленту в тон. Ах, ну только она умеет так украшать. У сыночка оказалась, к счастью, новая розовая рубаша, и сам такой розовощекий, точно персик, улыбается сладко, и дочка стоит с ним рядом, ну надо же, кто знал, что они через пару лет так возненавидят друг друга. Сынок подает рожницу прямо в объектив, а дочка примостилась боком, и это тоже сбывается в жизни: он требует, а она с усилием и заминкой просит.

Рядом с сыночком моя младшая племянница, сестрина дочь — на ней великолепная накидка с гипюровой оборкой и тоже бантом зеленым в тон гипюра. И хитренькая же она, попала рядом с сыном, которого признала из всех нас первым, а также рядом с дедулей в коричневом новом костюме — она всегда притягивается к тем, кто ее любит. И держится младшенькая — как артистка, лукавая, легкая — потом, после занятий по психотренингу она поступит на хореографию и пойдет, и пойдет покорять.

Добрая девочка — единственная не отвернулась от нас после всего... Писала моей черноглазенькой письма, высылала фотографии... Интересно, вот эту золотую комнату она помнит ли?

Итак, в центре она с моими черноглазиками, папа и мама с краю и рядом с мамой ее мать, наша бабушка. Лапушка, вечно засаленном халате, принарядилась сегодня в коричнево-кирпичное креповое одеяние, увенчанное черным зубчатым гипюром. Боже мой, да они сговорились насчет этой коричневой кантилены. Ах, пампушечка медовая, сколько у нее есть еще ненадеванного, нового, что она полжизни берегла. Кстати, она тоже в очках, как и мама, и наверно поэтому они еще сильнее стали похожи в последние годы, особенно глазами и носом, крыльями бровей. Миленькая моя баба, ты от слепоты меня лечила, по больницам со мной мыкалась, а сама всю жизнь проходила в очках — “слабеньки, троху дальни” — проговаривала ты, а теперь вон какие толстые стекла.

У мамы и бабушки такое скрытое терпенье в лицах, их поджатые щечки и ротки такие молчаливые. “Высидим, вытерпим! — И вы, детки сидите, терпите...” Да ты, бабуля, не томись, ты посмотри, какая у нас-то с тобой кантилена, ты как знала со своим черным гипюром, что я в легкой черной кофточке окажусь. Тебя посадили и

бегают, утомили до потери пульса, но ты не томись, сейчас поедешь от этой оравы в деревянный домик за больницей, снимешь кирпичный наряд, запахнешь опять в шкаф лет на пять и пойдешь в старом сарафане на лавочку в огород. У тебя в хате все тот же старый диван и кровать с шишечками — от матери, когда она купила новую мебель.

Помнишь, ты мне однажды гардины рыжие трехметровые подарила? А я ничего тебе не подарила, так и мыкаюсь в нищете всю жизнь, но ты не обижаешься, так ведь? Ты знаешь, что я деньги не на дело трачу, но никогда не рыпишь на меня, я у тебя любимая внучка, “хай його бис!” — бормочешь ты. И мама вешает тебе на шею пресловутую ниточку бус под жемчуг. И ты ничего. А мама тоже!.. Хочет, чтобы все вокруг нее в ее бусах сидели, елки! Так-то мы с бабулей похожи больше, чем с мамой, только здесь — бабуля в бусах, а я нет.

Я стою чуть позади, рядом со мной старшая племянка и сестра. На старшей племянке черный крепдешин в ало-белых хризантемах, вырез формой повторяет мой, а язык мой немо повторяет ее запальчивые слова. Ах, котик, неужели я лишь бедностью тебя разгневала так? Ну езжу без гостинцев, ну, не умею зарабатывать, но кого я обидела этим, кроме себя? Ах, детей сделала уродами? Но они не воспринимают это так остро, как ты, они маленькие...

Не то чтоб я боялась черной работы — нет. И вахтером мерзлые ворота закрывала, и уборщицей, и на стройке — все перепробовала. Я и в ваш престижный дом архитектора хоть кем пошла бы, только нет таких знакомств, как у вашей мамы, моей сестренки. У меня работа, дети, хозяйство, машинка — все отнимает силы, и ничего не воздается. Но я жить без этого не могу... Ах, не приставать? Да ладно, ладно...

Ты у нас пугающе красивая девочка, умница, в твои шестнадцать иметь такую молочную кожу, такой лик царевнин — опасно. И твоя непомерная гордость, надеюсь, тебя защитит. Но когда я тебя качала двухмесячную, знаешь, я уже так жарко любила тебя, что и потом всю обратную дорогу в поезде продолжала раскачиваться, привыкнув к твоей амплитуде. Нет-нет, про пеленки не буду...

Наконец, трудно узнать в высокой женщине рядом с племянкой свою родную сестру. Нас и раньше не признавали за сестер — я маленькая и черненькая, она стройнющая, худощавая, пепельные кудри, я растеряха, она властная и ловкая. Она в детстве дразнила меня “самое главное в жизни деньги”, и в институте — “самое главное в жизни власть”, да и сейчас так властно смотрит на всех, как бы говоря: “Вы здесь, потому что этого хотела я, самое главное здесь я.” Я тоже здесь, потому что так хотела она, и она уговорила меня, а я всю свою семью. Мы вообще одурели, ехали за столько верст, заняли денег. Но она хотела делить наследство, а я не хотела делить при живых бабках-дедках, вдобавок на вокзале дети подхватили вшей, я морила всех керосином и так далее, а потом мы оказались не те люди, нами стыдно ходить по проспектам родного города...

А были ведь времена — ездили друг к другу через города, через моря... В институте у сестреночки обнаружили затемнение в легких, я мчалась, банка нутряного жира в сумке, мед... А еще в тайгу-то к ней тряслась, двое суток по поселку искала... Подумать только. Ходили через дождь деток крестить. Варенье вместе варили. Смеялись сутками, сестра моя, птичка моя, ты не забыла об этом, надеюсь? Молчишь?

Костюм из смесовой ткани отликает серебром, как скафандр, пепельные волосы клубятся облаком, а серые глазщи так хороши, что согласишься с чем угодно. Ты хочешь, чтобы я поверила, что я такая ужасная? Ладно.

Как холодно. А может, просто я опять не то надела. На мне случайная кофтенка, случайная пестрая юбка, дешевые синие серьги, мне еще далеко до писательства, я так молода еще, так смугла...

Но мне холодно оттого, что за моей спиной качается старинный фрегат и студеный ветер дует с моря. Это корабль из "Детей капитана Гранта", на нем уже наверняка находится чудный Роберт Грант по имени Яков Сегель, который машет мне мальчишеской рукой. Из радио как в детстве выплескивается -- "Веселый ветер, веселый ветер... Моря и горя ты обшарил все на свете..." И незаметно переходит в начальную увертюру... Потому что история нашей семьи такая грустная, и начиналась она так давно и так драматично... И эта музыка всегда очень выражала маму с папой - с одной стороны они героические люди, эпические борцы, главный инженер и главный агроном МТС, даже книжка дома была - "Повесть о директоре МТС и главном агрономе"... а с другой - нам так не прожить нашу жизнь, как они смогли. Они зовут, а мы медлим. Вот так же зовет меня с собой мальчик Грант, который искал отца.

Куда он зовет? Да я не знаю! Я в этот момент не думаю, почему тут нет наших с сестренкой мужей, которые, по ее выражению "опять пьют, как пить дать" - взяли бочонок разливного пива и сидят где-нибудь в саду, говорят о рок-н-ролле. Я в этот момент не хочу знать, какие ямы себе готовлю, как сестра прогонит и осудит меня, как заболит потом и будем мы с ней жить в вечной печали. О, я еще улыбаюсь беззаботно, и меня поднимает, баюкает важность происходящего. Главное не то, кто и в чем тут сидит, просто мне дороги даже мелочи.

Главное — это мягкий золотой свет, заполнивший чудесную золотую комнату с белыми креслами и столиками с гнутыми ножками, с фрегатом за спиной, который тоже в золоте и синеве, и посреди этой красоты все мы, на миг сосредоточенные, нежные. Пока играла увертюра Дунаевского, мы успели посмотреть друг на друга с теплом и надеждой — перед тем, как встать и уйти в разные стороны, чтобы потом не встретиться никогда.

ПУЗЫРИКИ

С. Фаустову

Хрустящий как шоколадная обертка ледок. Бежишь по нему, неуловимо молодея, и как бы становится мало лет. Но под громадным ошипованным колесом хруст не хруст, а тончайший щелк пузыриков градусника. Ведро рассыпанных градусников.

Немецкий троллейбус, как комнатка, фойе, никаких ободранных сидений, гнутых ведер и мазутных мешковин. Кресла в шашечку, медовый оттенок гобелена. Билетики, билетки, ах, да вот же компостер — рядом, и тут же красная стоп-кнопка, если надо выйти, а я-то дальше... Ведь в таком салоне можно жить, можно вечера проводить... и ночи. А может, насовсем остаться? Ля-до -ми-ля!.. Сразу мы много не добьемся, ну ничего, возьмем пока начальный аккорд.

“Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в нашей маленькой литературно-музыкально-...троллейбусной гостиной. Мы здесь временно, один библиотечный зал оккупирован студентами по причине сессии, а в другом аварийная течь на потолке, мэрия опять не в силах... Не правда ли, тут уютно? Выступающий, вот сюда, на возвышение... Чтобы все было возвышенно. Кто на этот раз? Только не пузыритесь, спокойно, ласково, чтобы непременно легкая аура... Кому объяснить, что такое аура? Ее можно чистить, осветлять. Свечи помогают и еще индийские благовония. Но главное - внутренний настрой...”

Нет, не сейчас, через одну. Здесь была остановка года два назад, в пик развития отношений. Это вон там, за игрушечным театриком, за сараюшками. Исчерканная мелом подъездная дверь, за которой протуберанцы горя и рассветные соловьи. Пара колких фраз — сразу смех, настроение, все нипочем. А в итоге от чужой мудрости как бы в дураках: временное, заемное, тающее... Пузырики фантазии, радужные мыльные пленки. Эта остановка в прошлом, проехали, проехали ее.

Возможно, на следующей? Там, где хитрый рынок, где дешевая сгущенка в картонных кубиках, масло из поселка Молочное, белые как масло цыплята, величиной с чайник одна ножка. И ни на что это нет денег. Девушке в бархатном плаще до полу тоже мало. А ее кожаный юноша в транс: только что подал ей две сотни... Они оба в светлом, наивном удивлении, в светлой шумящей одежде. Про меня и речи нет, нету у меня дара речи. Ну девушки, ну откуда у вас такие юноши, такие плащи, вам еще двадцать не стукнуло!

Пересадка с троллейбуса на автобус. Холодно, больно ногам в тонких туфлях от щербатости щебня. Скорей бы уж автобус — любой, перусский, русский, желтый “икарус” или красный “Паз”, только скорей, ветер насквозь... Здесь, на рыночном пяточке, ревет из усилителей сразу несколько музык, наверно, чья громче, тот больше продаст. И вся эта накатывает, накатывает на тебя и парализует. Одно утешает: звуки заглушают и перекрывают, как бы гаснут друг в друге. Поэтому не так остро действуют. Самое сильное - самое простое. Ля-до-ми... Ля минор. С него все начинается...

Господи, прости все мои прегрешения, вольные и невольные, прости мою бедную, всеми покинутую сестру, дай ей порадоваться на склоне дней. А то моя радость кажется глупой, непослежертвенной, незаслуженной. И если молебен заказать, то к слабой моей молитве присоединится еще несколько бескорыстных голосов. И услышат ее печаль, услышат...

Она ведь не для себя, господи, а все-таки не знает радости без платы, дарованной просто так, ни за что. Пузырики света, подарить бы ей — света своего, которого чересчур много. Много света, больше, больше света....

Вот и она, слава тебе, господи, “единица” показала из-за поворота.. Тут все русское и родное — бензиновая духота, перегары, перебранки и тепло. А в моей гостиной холодно. Кажется, стихам и звучать бы в лютом морозе, чтобы восприятие усиливалось съезженной кожей. И все же весна не весна, когда такой дубак.

Автобус напротив АТС. Нет, моя остановка не сейчас. Была моя — полгода назад, тогда еще друг был живой. Вон его жена неудалая, лицо пьющей женщины, смятой от долгого употребления, рядом мальчик, не желающий жить со своей матерью. Солнце, не желающее светить, спящее в тучах. Изморозь на поручнях, пузырики слез. “Бедные сукины дети, сколько у них горя и тоски, сколько горя и тоски от них людям...”

После остановки “больница” автобус окончательно пустой. Часть толпы сворачивает к психинтернату, куда вызывали со стихами и песнями... Гусиный гогот: “Видали таких писателей, видали”. Вот они, мои поклонницы, женщины в халатах и трикошках, сизоватые, зеленые, безглазые. Пузырики земляные.

Дальше заводской район, рабочие девочки, рабочие мальчики. Их бы в мою гостиную, чтоб с утра не за пузыриком зеленым, а ко мне, в высокую духовность... “Дулю тебе, а не духовность. Ты сама их чураться...” Кто это сказал? Если никого нет, а слова явственны, значит совесть. Но в коридоре кто-то уже есть. Кто-то ободранный, невыносимо грустный, ссутулившийся, обхвативший длинными пальцами голову, а рядом на зеленой банкетке толстая папка с загнутыми краями. Поза его застывшая выдает, что он давно здесь. Но я позднее всех, значит, он ко мне. Кто-то незнакомый, кому я нужна? Что ж, начнем. Ля-до-мия! Ах вы, пузырики радости. Это когда без газ-воды смешно и колко в носу...

Каждый раз, когда я выплываю из подъезда с огромными сумками в руках, я становлюсь похожа на одну мою покойную коллегу. Та ходила на работу с тремя сумками, и там у нее были библиотечные книжки — а читала она много, чтобы от горя отвлечься — а еще там были мешки с травой, которую она заваривала порознь и пила отвары, целлофаны с хлебом, кашей, молоком, а отдельно — рабочие папочки с таблицами, которые она могла дома посчитать. Я тоже на работу с двумя сумками и в обеих папочках...

На днях, торопясь сунуть в духовку противень с солеными сухариками, я сильно обожглась и теперь мне обе сумки приходится переключать в одну руку. Вижу, что неподъемно, придется разбирать. Вдыхаю и начинаю изучать залежи.

Так-с, ребята поэты. Не вам ли надо сказать спасибо, что вы так много и хорошо пишете? Посмотрим, это что. Это наш философический летчик. Никогда не забуду, как он бабахнул нам про Шопенгауэра. Все просто отключились. Кажется, недавно сделали ему книжку стихов, где вся идея и конструкция - мои... Что кстати, не оправдалось общенчески, и он исчез, ходить на занятия перестал... Сложный человек. Стихи у него пронзительные есть — я в сны уйду, из коих нет возврата...” Эссе писал про большого поэта, а на самом деле это вышло про себя. Говорят, литературная мистификация, жанр такой.

А это он стостраничную повесть сочинил. Нет сюжета, хотя это неглавное. Но когда социальный гротеск затемняет и забивает живого человека? Когда главный герой, будучи выше и мудрее всех, вдруг начинает маршировать, как манекен? Жизнь-то с ее солеными волнами, радостью объятий и абрикосами все равно выдвигается из рукописи по обочине. Я читала целый месяц, злилась, теперь готова дать хоть какую-то рецензию.. Вдруг сегодня прикатит на своей командирской машине, он же просит ему Кальвина найти... Надо рукопись взять с собой. Он такой пристальный, все поймет... Если не поругаемся. Мы все время ругаемся. Потому что даже великие люди у него потливы и похотливы, не говоря о простых... Потому что у него весь мир бардак, все люди б..., как дедушка говорил... А может, он не потому злой, что злой, а потому, что ухо сильно болит?

Вторая необъятная папка - учитель. Это только черновики, а чистовик макета я ему уже отдала, он с ним в типографию рванул, зачем же черновики носить? Это не надо, долой... Наверно, он обиделся за такую жестокую правку, но в конце концов, меня тоже правят, и его грамматика — его забота. А так идея книжки полностью моя, и обложку ему подобрала — ах! “Вторая молодость” - заголовок, а на фото два старых засохших дерева переплелись. Вообще слабая книжка, чего там. Один рассказ и есть, тот, что про стариков, вспыхавших друг к другу. Все единодушно потряслись. Остальное так слабо, так спорно, что под ложечкой сосет. Представьте: работать и знать, что на выброс пойдет! Но он явно не увидел себя на расстоянии без этой книжки, вот эта степень отстраненности, откуда она еще возникает?.. Только когда увидишь страницу в стольких экземплярах, и закрутит тебя, задонимает:

что ж я, что ж я... Нельзя его терять — других хорошо слышит, внимательный чуткий к другим, резонатор лучше некуда. да и сам еще кое-что может.

Целый ворох неотвеченных писем... Так это старая подружка, художникова жена - еще времен колонии — это она оттуда стихи посылала. А теперь вот говорят, вышла, да мне и не показалась. Надо ей книжку, не надо?.. Никак руки не доходят.

А это милейшая внучкина бабушка, и черновая, и чистовая, и наброски ручкой, и распечатки разнокалиберные, батюшки, да тут и фотографии остались! Надо отдать скорее, придет на работу — все с собой... Я не жалею, что возилась с ней, по крайней мере, у нее праздник получился, она еще не знает, какой это все кошмар. Как и многие другие, нажимая на курок, не хотят знать, что они надежду свою простреливают. Так бы еще тайна была, туманная мгла, а так — все ясно...

Ну вот! Очередные документы на вступление. Что это я их ношу две недели, давно надо отправить — в другую кучку их, на почту, на почту немедленно! Волнуется человек! Кстати, эту папку я тоже ему приготовила, тут мое первое действие, а второе еще в черновике. Пусть скажет мнение, а то сам небось уж две одноактные пьесы набарабанил... А вот это не просто документы. Тут уж, считай, высший суд над собой человек произвел. Одно заявление уже — крик души, исповедь... Все бы так подходило к себе, с высшей меркой. Скажем, я сама на подобное не способна.

Ежедневник так распух, что все выпадает. Азиатский мальчик, солдатик из района, вот те раз. Я же его потеряла и написала ему, так он и убивается, наверно. Как позорно вышло, боже мой. Немедленно ему написать сегодня, пока он еще не демобилизовался... Все-таки изумительны его строчки об измене милой, за которую он же у нее же и прощения просит. Как это он, такой молодой и так уж постиг это мудрое, молитвенное — к женщине! Откуда это в нем, с его толстыми щеками и кирпичным румянцем? И деревенская поэтесса другого совсем уезда тут, уже начато письмо. Все с собой. Допишу сегодня... Письмо подруги из Челябинска, в котором впервые за два года радостная весть — она нашла свой очередной роман у шланга стиральной машины, на полу. Долой депрессию, дорогая. Пиши, начинай же скорее свой новый роман, а я уже про тебя статью написала довольно просторную, вроде обзора. В ней мало ума, много чувства. Это практически не статья, а величальная песнь... В твой "Урал" и отправлю. Не падай духом, видишь, я готова хранить все твои бесценные рукописи, если уж не могу все издать... Издавать-то надо бы там, где ты живешь, а не там, где я. Но может быть, попробую хотя бы заложить в память... Текст сохранится. Твои пальцы, которые настукивают гениальные страницы романа, связали мне фантастический шарф, берет — сиреневый фиолет тихой радугой светится теперь вокруг моего лица... Выше моего разума такие вещи.

Владимирская писательница, которая была на семинаре с дочкой, письмо прислала. Считаю, что я первая в стране ее напечатала, горжусь этим. Вязь стариннейших фраз, изящество, преклонение перед Набоковым. Когда-нибудь, верю, увижу ее в толстом журнале. А пока

она просит изложить ей технологию выпуска моего альманаха, и я пытаюсь одновременно и одобрить, и отговорить. Ее талант не в этом.

Наша молодая поэтесса, которая удачно снялась в телепрограмме - фотография: она среди белого фарфора и новых книг, у ног солнечный ребенок и черная мудрая собачища... А фото на членский билет полгода сделать не может. Такова данность. Кстати, вот ее резонанс на Гальского: "вернуться в Россию дождем"! Вообще ее отзвук на кого бы то ни было - это редчайшее прикосновение, она понимает изнутри... Только как ее заставить, уму непостижимо. Взять презентацию финна - доклад написала, но забыла его дома. Пришлось на ходу вспоминать, и ей ее же тезисы строчить. Стихи-то на вторую ее книжку я коплю, но это процесс, кажется, долгий. С прозой этой поэтессы - вот сейчас тут в сумке ее рассказы - вообще разговор особый. Многое проступило из милицейской работы мужа, интересная фактология, да, но одухотворяющая аура самой поэтессы не согрела еще эти факты. Я говорила - женские образы удались, давай дальше... Она перестала даже черновики мне показывать... Неужели я так давлу на людей?.. К другой поэтессе даже на километр не подходила, в статье посмела похвалить - и то целая трагедия: "вы ходите по трупам". Эх, нежный народ поэты...

Это Шекспир, сонеты, которые перевел местный автор, доктор, кстати, а я его так и зову - "Шекспир". Тоже сто листов, ну размахнулся, доктор лор. Кое-что выше Маршака, в общем, я не специалист по переводам, а отзыв прекрасный... Ну что с ним делать, не знаю, хоть убейте. На люди выходить не может, заикается, голодает, с кровью, говорит, неладно, значит, надо торопиться при жизни издать, так? Доктор безработный, худой, "дай на сигареты", а я что, дочь миллионера? Сама без часов, без бутербродов, без туфель... Нет, это прессинг, невольный, может быть. Возьму с собой, может, придет опять, вот тут надо бы поправить. Хотя он так плохо идет на поправки... "Шекспир" мне дан во испытание. Я ради него бросила на три месяца всех остальных. Хотя может и поняла что-нибудь именно через него - то, чего другие не хотели понимать. Поссорилась с ним. Зачем он всем диагнозы ставит?

Еще вот психиатр. Его романы про Савинкова, глава третья. Кстати, почему ко мне в последние годы пошли силошь врачи? Может, я больная? Может, мы все больные и кто-то косвенно жалеет нас? Впрочем, мы никому зла не причиняем. А что приходится порой терпеть выкрутасы друг друга, так это даже хорошо, это нужно, это развивает терпение... Каков искус для психиатра разложить Савинкова как психбольного, поставить диагноз профессионала. Тем боле и архивы богатые, и савинковские тексты. Мы спорили не один день и кажется, теперь он стал даже любить своего героя. И говорит о нем не как врач. Как друг. Сила, сила понять и принять - невероятная, даже сам писатель преображен ею и стал другой.

Молодые инакие стихи. Девочка золотая, сумасшедшая. "Не меряйте логикой речь пьяных влюбленных..." Значит, никаких рамок. Я сама ее нашла в редакции по адресу, философ гоня командирский газик с запиской. Я ее все ругала, а теперь не могу, очарована до комка в горле, если зайдет — схвачу за руку мертвой хваткой, не выпущу. Сколько

можно ругать? Иногда ругать нет сил, но ей будет хуже, как захвалят. Может, попытаться спросить о ней московскую знаменитость? Отнимется язык, как в случае с Петрушевской... Когда я спросила ее мнение обо мне, она меня отхлестала. Так что неизвестно, чем это может кончиться.

“Боже мой, ну где вы были, где вы прятали галчонка?..”- читаю, шевеля губами. А знаете, вот так в себе и прятала. И лишь теперь вижу — незачем. И лишь теперь понимаю — я редкое существо, только боялась так думать. Она натолкнула меня на это. Она дебютировала в престижной газете, о ней заговорили, гори-гори ясно, чтобы не погасла. Хотела я ее учить, но чему? Читать вслух— побелела, сорвалась вон. Только не она у меня, это я у нее учиться должна. Новой системе мышления, существования, новой, прерывистой от любви, речи... “Зацелованный и заласканный/ куролеся смеша играя/ этот рот не хотел быть сказкою/ он себе позволял быть явью...” Она себе позволяет быть явью!..

Да все равно она не слушает никого, даже авангардиста. Вот у Короленко слепой Петрик понимал дудку конюха, а не материную пианино... Ну и кто у нее конюх? Авангардиста пригласили в элитарный писательский союз в столице. А я, патологически рвущаяся исправить всех и вся, в случае с авангардистом пасую. Не могу узреть, где правильные фразы, где нет. Однажды он прочел эротику, потом просто лирику, но в любом случае это какой-то фейерверк страсти — то ли Азия, то ли Титаник. Кое-кто пишет друг другу мадригалы. Такой праздник понимания. Тут серый человек молчи.

Корреспондентка зафиксировала на рваном конверте похабные частушки мэтра. Все так хохотали тогда, а она взяла и записала, теперь будет юбилейный выпуск листовки, а я туда и влеплю, ой, не потерять бы только. У нас все печальные, мрачные рожи сидят, а смешинки эти — самоцветы, камешки драгоценные. А вот сложенный, затрепанный текст— “ Я завидую ей молодой /И худой как рабы на галере / Горячей чем рабыни в гареме / Возжигала зрачок золотой /И глядела как молча горели две зари по над невской водой...” Это Ахмадулина, я пела, когда мы поехали выступать в район.

Стихи худого чужака. Он сто лет не ходил, тут явился, трезвый абсолютно, стал читать их для нас, и так вдруг стало грустно, так горько, что жизнь кончена и ничего больше не будет. Только уход. И никакой в истерики, просто смирение, смирение до пустоты ветра... Он стал читать и тут вдруг пенсионерка, год молчала — вдруг встепенулась, осмелилась и стала читать свои стихи, и не просто так, а в тон — редкое совпадение. А они ведь разные по возрасту, по мироощущению. Так случился второй, кажется, за мою бытность, праздник понимания... Не обсуждение, не разборки, а совпадение безошибочное, радостное.

Однажды молодая поэтесса сказала худому: “Давай заканчивай вторую книгу, издадим, примем в союз, да и начнешь, наконец-то, стихи писать.” Все были в шоке.

Кассета с музыкой, и что там? Ах, это Паша Кашин. Была встреча с молодежной рок-группой, они оставили. Он слишком дурашлив, чтобы быть моим. Написал на обложке альбома благодарность звукооператорам, Пушкину, папе и маме. То ли ради рекламы себя, то ли

правда пьет живую воду вечного стиха. Его кидает от цинизма к почитанию, от слез к дразнилке “Я лежал ненужной рожей во ржи... Расскажи моей любезной, что я еще жив...” - и тут же про чайку — “выносите белую”... Нет, обезоруживает, правда. Каждая песня ассоциативно связана с какой-то книгой, будь то Селинджер или Бах. Ну, не могут эти молодые, поперечные, выражаться иначе, а высокая романтика на самом деле им не чужда, просто она в экзотическом новом облике.

А кто будет нашим Кашиным? Кто отчаянно и грустно поет наши рукописи?..

Нет, снова в сумке тяжело... Это что опять несвойственное? Слушай, милый, “Менеджмент и маркетинг” — это я не тебе брала? Возьми полистай, а то ведь месяц уже ношу. Да ерунда, мне девочки подсунули “Степного волка”, год не могу прочесть. Стейнбека и то только после больницы одолела... А вот киреевских женщин в “Романгазете” прочла. Да жалко отдавать... Эмигрантов тоже надо срочно отдать — из книгохранения резервный экземпляр утащила, все ради Гальского.

Зачем дискеты? Тут же все мое. Если будет после отчета время, или после того, как мы про Бродского сочиним, мои рассказы повычитываем. Надо же их, в конце концов, до ума доводить... Валяются год уже.

Вот оно что! На дне сумки килограмм моркови и два пакета кефира. Ну и ну. Да ты не пугайся, я сегодня купила, вот как раз оладыи пойду и сделаю. А остальное все обратно, обратно. Все надо.

М. Жаравину

РЕДАКЦИЯ ВСЯ ИЗ ТЕЛЕФОННЫХ ОЧЕРЕДЕЙ ВИЗГА ДВЕРНОЙ ПРУЖИНЫ РЕДАКЦИЯ ЖЕЛТЫЙ ТЕПЛЫЙ СВЕТ. ГОВОРИ СКОЛЬКО СТРОЧЕК СДАЕШЬ НАКОНЕЦ, ВЫ ВСПОМНИТЕ ЧТО ПЛАН У ВАС ТРИСТА СТРОК. А ВЫ СЕННИКА ИЗ ЛИТЕЙКИ ПОСТАВЬТЕ МЕСЯЦ ЖДЕТ. ПОРА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ШЕВЕЛИТЬ КОНЕЧНО НЕ ХОДИЛИ В КОМБИНАТ ПИТАНИЯ НА ОЧЕРЕДИ ШАРИКОВЫЙ ЦЕХ СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИТЬ НА ПЛАНЕРКУ ИДЕТ РЕДАКТОР ИЛИ ОТВЕТСЕКРЕТАРЬ ОСТАЛЬНЫЕ ДАЮТ ОТКЛИКИ НА ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ. НА ПОДВАЛ КЛУБ ДАДИТЕ ОПЯТЬ ЛИТЕРАТУРА ВАША НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЖИРНО. А МЫ КУРСИВОМ КУРСИВОМ. ДЕВОЧКИ ЧТО ОПЯТЬ НЕ ПОЛИВАЛИ ВАНЬКУ МОКРОГО ЗАВЯЛ СОВСЕМ. ЗАВЯЛ НЕ ОТ ПОЛИВА СТРАШНО ДУЕТ ОТ ОКНА. ЛЕНА ЗАЙМИ ДЕНЕГ САМА ЗАЙМИ НО ДАЙ ВЫПИТЬ. КТО ТАМ ОПЯТЬ РАБКОРЫ ИЗ ШЕСТОГО ЦЕХА

- Дважды ты звал меня поехать к тебе в деревню. Летом, в тот давний послеразводный год, ты ехал с сыном и я отказалась, понимая, что меня не поймут. Ты, конечно, все понял бы - и то, как бы я согласилась, и то, как отказалась. Поэтому я поехала в твою деревню уже без тебя, но к тебе. А тогда мы ничего не обсуждали, и молчание было единственным фактом. Ты ничего не сказал, написал тогда большое письмо, со стихами про сенокос, я его сейчас ищущу-ищу, не могу найти. Оно, я помню, было молодое, независимое такое, порывное, разговор вровень. Помню, я тогда удивилась, обрадовалась, что-то такое от свободы, от усталого дыхания... Ты что, смеешься надо мной?

- Какая там свобода! Я обрубком был после Светки. Нет ноги, руки. Запихать мог, и начинал даже, не хотелось только мать гробить-то совсем. Но про это я писать не мог, а мог про сено, ну и вот... Сынишка так скакал у меня, так визжал у реки, душа радовалась. Да нет, я знал, что ты не поедешь - что дома говорить? - но внутренне этого просто хотел. Чтобы пока я там на покосе, ты бы с детишками погулять сходила, цветов набрала. Потом бы костер сделали, чаю. Мы ж никогда не могли с тобой поговорить. В редакции ты пешкой была, на тебя шумели, строчки трясли. Я минуту урву, приду - ты план гонишь, печатаешь, красная вся, боишься. Тебе влетало за меня?

- Очень влетало. Потому и приставала, рабкором хотела сделать. Чтоб ты как рабочий написал мне про наладчиков, про сборщиц, бригадира какого-нибудь зафигачил, с наставничеством - тогда еще наставничество было, надо же! И чтобы ты пришел в редакцию с новым рассказом, мы сели обсуждать, редактор закричала бы, а мы ей - раз - и железку твою про бригадира. Вот это бы да. Уж она бы тогда не тронула.

- Они народ не тот, чтобы болтать. Они ж не могут из пальца высосать, как вы. Когда не о чем говорить...

- У вас всегда есть о чем. Не ври лучше.

- О чем надо - про то вам нельзя говорить. Редакция против директора попрет разве? Не посмеет. А мы ж это всегда знали, да и вы знали, только делали вид. Потому и врать не хотелось. А про редакцию я тогда честно написал, и редакторша милостиво смотрела, аж в

областную отдала. Да мура это все. Я к тебе шел не просто, а когда еще не знал, про что писать буду. Ты слушала, раскрывши рот, и мне хотелось тебя удивить. Из меня тогда и полезло черт те что.

ЗИМА БЫЛА ОЧЕНЬ СТУДЕНАЯ ЖИВОЕ НЕЖИВОЕ ВСЕ СКОРЧИЛОСЬ БЕЛЫЙ ЧУЖОЙ КАБИНЕТ СТЕКЛА НА СТОЛАХ И ТЫ В ПЯТНИСТОЙ РОБЕ НЕЛОВКИЙ СРЕДИ ТОЛПЫ ВЫСОКОМЕРНЫХ ЛЮДЕЙ ГЛАЗА ЧЕРНЫЕ ЯКУТСКИЕ ГОРЯЧИЕ ПРЯЧЕШЬ ВДРУГ ГОВОРИШЬ СВОИ НЕБРИТЫЕ СТИХИ И СЛЫШНО КАК ОНИ БОЛЯТ ПЕНАРОШНО НЕ УМЕЩАЮТСЯ ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ КАКОЙ ЭТО КЛАСС А Я САМА ТОГДА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЛА ВЫЛЕЗЛА ИЗ ДЕКРЕТА ДИКАЯ СМОТРЮ И ТЫ САМ НЕ СВОЙ ДИКИЙ ВОТ ЭТА ДИКОСТЬ НЕУДОБНОСТЬ МЕДВЕЖЬЯ ЗАСЕЛА В СЕРДЦЕ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЯСНО И ТАК ОСТАВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ

- Не черт те что, а обалдеть. Мне нравилось то, что ты пишешь. Всем говорила.

- А я сам чувствовал, что тебе нравится. Помнишь, пошел с тобой вместе мне машинку покупать?

- Ты тоже нашел советчику. Я ж ничего в железе не понимаю. Ты наладчик, а я кто?

- Знаю, что ты не понимаешь, знаю, что наладчик. Не в том дело. Ты меня писать заставляла, я машинку пошел брать. Чтобы ты поняла, что послушал тебя. Начал писать если, не брошу. Что ты, мол, теперь не бросай.

- А я бросила тебя. Вот после того скандала, где вся братия писательская на меня орала, а ты молчал. Почему ты молчал-то, а? Неужели тебе все равно было, что меня поливают? И все ни за что. Один ты мог заступиться. Не жалко?

- Как не жалко. Только я ведь не мог. Столько крику было, а на деле стена, глухая защита. Я слышал, что никто не слышал ничего. Ни ты их, ни они тебя. Все это бесполезно. Я надеялся, что ты не будешь скандал поднимать, а ты такой базар устроила. Я злился на тебя, хотел, чтоб ты вышло этого была. А ты в одно корыто с ними.

- А я не могла быть выше. Я, значит, такая же, как они. Но не в том дело! Ты меня считал дурой, я тебя предателем. Я помнишь, крикнула тебе - "за сколько ты продался?" Ты сказал - "за двести". Я сказала - "неплохо". Видишь, о чем мы? А нам надо было выйти вместе и говорить, говорить, говорить, говорить. Ведь у нас-то с тобой глухой защиты не было?

- Не было.

НА СЕССИЮ ЕХАТЬ БУМАГ НЕ ХВАТАЕТ КОНТРОЛЬНУЮ ПО ЛОМОНОСОВУ Я ПИСАЛА ДВЕ НОЧИ ЩИПАЛО ГЛАЗА ОТДАЛА ИЗ КАССЫ ВСЕ ДЕНЬГИ ТЫ В ОТЧАЯНИИ ЧТО НУЖНО ЕЩЕ РАСПЕЧАТАТЬ ДВА РАССКАЗА МУЖ ПОШЕЛ В ИНСТИТУТ ТАМ КСЕРОКС ДОИСТОРИЧЕСКИЙ БУМАГУ ЖЕГ КАК ПАРОВОЗНАЯ ТОПКА ПОЛОВИНА ЛИСТОВ ОКАЗАЛИСЬ ВООБЩЕ РЫЖИЕ ТЫ СИДЕЛ ИЗВОДИЛСЯ СМОТРЕЛ НА ЧАСЫ НИЧЕГО НЕ СОБРАНО Я ЖАРИЛА ТВЕРДУЮ ЯИЧНИЦУ ПРОСИЛА НУ ПОЕШЬ РАДИ БОГА НО ТЫ НЕ ЕЛ НИЧЕГО

-Я тогда принес тебе "Глухую защиту" перепечатать, ты так и вцепилась. Наверно, понимала, о чем речь.

- Да! Меня потрясло то место, где девчонка кусала руки в постельной сцене, я рассердилась, а ты рассказал про сына, как тот

кусался на вокзале после развода. Поразил сам герой, который пошел армию служить за другого. Сейчас никто не хочет за себя идти, а твой пошел за чужого.

- Не за чужого, а за друга. Разные вещи это. Я сам бы пошел.

- А за тебя пошел бы кто?

- Не знаю.

- Все равно александро-матросовщина. Глупый героизм, надрыв. Шаламов писал.

- Не глупый. Спасаясь от себя, от боли своей. Лучше сдохнуть, если по-другому эту боль не избыть.

- И ты так? И ты ушел от нас потому, что не мог свою боль избыть? Господи, а я... Я думала, что ты просто алкаш, не можешь остановиться пить. Думала - бросишь пить, бросишь драться со своей бабой и вернешься ко мне. И мы опять будем сидеть, разговаривать... Как тогда, в редакции. Или в твоей кондейке в цехе. Там грохот такой был от станков. А я все говорила, говорила, срывала голос - какой ты хороший. И твои мужики, приятели по смене, смотрели на меня с насмешкой, наверно, думали, что я "того".

- Я не мог бросить. Я чувствовал, что умираю. Что кроме адской боли, ничего не чувствовал.

- А тебя в это время учила жить! Какая я глухая, кошмар. Я просто кипела тогда. Спросила: сколько, мол, тебе заплатили за предательство. Какая же я все-таки...

- Да зачем. Ты вскипела, потом опомнилась. Я под пальмой рассказывал тебе, как стал зверем, догадывался, что во мне скотство какое-то, я ж помнил себя раннего. И ты все слышала, говорила, что любишь, жалела. Я не боялся тебе говорить.

- Пойми, был момент, когда я от тебя отказалась. Ты все время был мой, потом после этих тысяч я как бы отвернулась. Я тебя описала в "Графоманке". Я не должна была руку отдергивать.

- Ты не должна никому ничего. Ты один раз призналась "стою на коленях" - когда не могла писать и не могла не писать. Сколько лет можно на коленях стоять, ты человек тоже. И ты сейчас почти отвоевала себя, держись. Вспомни лучше, как мы у тебя дома сидели.

МЫ СИДИМ СУМЕРНИЧАЕМ ВЕЧЕР БЕСПОДОБНЫЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ НАКОНЕЦ О ГЛАВНОМ О ЛУЧШЕМ НО СЛОВА ВСЕ ЗАСТРЯЛИ В РЕДАКЦИИ НЕ ДАВАЛИ А ЗДЕСЬ РОВНО КЛЯПЫ ВО РТУ. ТЕБЯ ПОТРЯХИВАЕТ, ПЯТНА НА СКУЛАХ. А ТЫ СЕССИЮ СДАЛ ХОРОШО ПОКАЗАЛ ПОСВЯЩЕННЫЕ ТЕБЕ СТИХИ МАРИНЫ ГАХ. НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ ЧТО ПОКОРЯЕШЬ СТОЛИЧНЫХ ПОЭТЕСС Я ОПЯТЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ И МОЛЧУ ТАК С ТОБОЙ ЗДОРОВО

- Слушай, да! Ты мне все время приносил амаретто. Ты почему знал, что я люблю амаретто?

- Все женщины сами не свои от амаретто. Мне лично противно. Я лучше водку. А ты вечно свое амаретто выпьешь и язык проглотишь. Разговор только начинается, а ты как эта...

- Это не потому что я слабая на вино. Я всегда знала, что тебе надо больше, чем я могу. Мне стыдно было своей мелкости.

- Не мелкости. Когда я болел один дома, ты пришла ко мне с журналом. Хотя не осталась, как просил. Хорошо, что до этого рассказ тебя отдал, который посвятил - "Я в квадрате".

ОБОДРАННЫЕ ДВЕРИ КОМНАТА ЕЩЕ НА СТАРОМ МЕСТЕ ВСЯ ЗАХЛАМЛЕНА ТЫ НА РАЗОБРАННОЙ КРОВАТИ ЧУТЬ ЖИВОЙ В РАСТЯНУТОМ ТРИКО ЗАРОС ПО ГЛАЗА ЩЕТИНОЙ ИЗ ГРУДИ НЕ КАШЕЛЬ ДАЖЕ СИП ИДЕТ ПОКАЗЫВАЕШЬ ПИСЬМА ИЗ "СПОЛОХОВ" ОТ АУШЕВОЙ -ОНА ХОЧЕТ ТЕБЯ ПЕЧАТАТЬ ХВАЛИТ "ПЕРЕКРЕСТОК" НЕ УХОДИ НЕ УХОДИ ОСТАВАЙСЯ У МЕНЯ ВОДКА ЕСТЬ И ТОРТ ТЫ ЧОКНУЛСЯ ЛЕЖИ БОЛЕЙ НЕТ ЕШЬ Я ТОРТ ТЕБЕ КУПИЛ ДА ТЫ ЧТО СОВСЕМ ЧТО ЛИ ТЕБЕ НЕ ДО ЭТОГО А ТЫ ПОЧЕМУ КО МНЕ РЕДКО ХОДИШЬ ЛАДНО ДАВАЙ ТВОЮ ВОДКУ И ТОРТ

- Ой, плохо, плохо я старалась. Когда ты болел, я моталась с лекарствами, моталась на такси, ревака давала, но это - после. А надо было до того. Надо было тебя тут удержать.

- Ты думаешь, что могла изменить мою судьбу?

- Могла бы хоть облегчить. Тебя бы вылечили, может, если б раньше...

- Раньше, позже... Я уже тут был никому не нужен. Я устал уже мучиться.

- Ты мне был нужен. Ты и сейчас мне нужен.

- Это мура все. Это совесть в тебе орет. А так если по - крупному, ты что хочешь?

- Хочу узнать, как мне с тобой дальше. У меня тоже хвори, тоже сил нет. Может, бросить все и спокойно ждать конца?

- Знаешь, что ничего не бросишь, зачем врешь опять. Ты держись.

- "Не позволяй мне, бросивши кого-то, лететь к тебе дробиночкой к виску." Это тебе нравилось, потому что это про тебя. Ты про это?

- Хоть бы и это.

- Меня правда заносит не в ту сторону. Мне хочется книжку тебе сделать.

- Теперь ты надрываешься, Матросова изображаешь. Ты нищая, дети. Я тебя освобождаю от этого. Кому меня надо было узнать, тот узнал и полюбил. А ты начнешь памятник лепить, тошно это. Брат молодец, что против доски. Я тоже против.

- Не тошно. Ты русский писатель, дар божий, пусть все это знают. И вот второй раз я к тебе не поехала, тогда зимой, с братом, когда тебя увезли. У меня маленький болел. А теперь далеко, смотреть на могилку и то нет возможности, а доска твоя стоит где-то на заводе, спрятана. Куда смотреть, где свечку ставить? Надо доску на дом сделать, но как?..

- Говорю же, никогда не успокоишься. Хочешь вместо меня - доску.

- Только ты не уходи из своего далека, ты ведь оттуда слышишь же меня? Слышишь, как краешки сердца сжимаются, силась скрыть эту дыру, эту пробойину навывлет...

- Тебе подружка умная сказала, что ты встретила меня уже не в первый раз. До этого мы встречались в прошлых жизнях. Значит, и дальше не исключено.

- Но в пределах этой жизни так трудно представить следующую! Стой, не уходи, побудь еще. Мне нужны доказательства, что ты не

исчез насовсем, что будут отзвуки, дуновения... Что ты узнаешь, когда я буду звать. Мне сон в больнице снился - что пошла к цыганке твой дух вызывать, а самой стыдно до ужаса, ведь верующая, иначе зачем так волноваться бы с соборованием... Кричу - "уйду", а цыганка бесится, что все испорчу: мол, он уже здесь... И вроде даже ты позвал меня по имени, протяжно так, а я тяжело проснулась, вся дрожа. Ты ведь слышишь меня. Я начала себя хвалить через тебя - не прошло, а как стала грубо отвечать - так более похоже.

- С тобой грубо? Да врешь ты все. Не надо тебе ни досок, ни цыганок, к лешему. Я и так с тобой, когда ты хочешь.

МЫ СТОИМ ОКОЛО ОСТАНОВКИ И ХОТИМ ЕХАТЬ ПРОЩАТЬСЯ С ТОБОЙ - ГИРЯНДОЙ КРАСНЫХ ЦВЕТОВ МЫ СТОИМ ПО КОЛЕНУ С ПЛОТНОМ НЕТАЮЩЕМ СНЕГУ НАВЕРНО ТАК СТОЯТ НА СЦЕНЕ ЗВЕЗДЫ НЕБОЖИТЕЛИ ПАРЯТ В ОБЛАКАХ КОЛКИЙ МОРОЗНЫЙ ВОЗДУХ ДУШИТ ГОРЛО НЕ ЖЕЛАЯ НИКОГО ОСТАВЛЯТЬ В ЖИВЫХ МОРОЗ НЕВЫНОСИМЫЙ ЗИМА КОНЕЧНО ЗИМА ДА ЗАЧЕМ ЭТО НАДО ПРОЩАТЬСЯ ОСТАВАЙСЯ

ВСЕМ ОТДЫХАТЬ!

Жених приехал к Жельке утром на мотоцикле, тарарахнув у ворот тучей пыли. Он даже не вошел, а Желька уже забежала по общаге, застрочила шпильками. Потом мазнула пару раз по себе косметикой и крикнула:

- Девчата, все ко мне на свадьбу. Автобус два раза в день, один кэмэ до станицы. Хоть пожрете раз в год. Паня, без тебя не начнем.

Сиганула в мотоцикл и тот с разъяренным ревом урвал невесту вдаль. Паня поехала от колющей глаза жизни, протерла очки... Юбку с кофтой ей подобрали, подарок общий заготовили, то есть деньги собрали, а Желька сама взяла на базе, что надо. Осталось только поехать. Делать ничего не надо, сиди слушай тамаду, ешь, пей, отдыхай... Про эти здешние свадьбы такое наговорят, что...

Ей удалось запрессоваться во второй рейс и два часа ее трясло по проселкам как погремушку. Выпав из автобуса, она тупо потащилась за оживленными станичными женщинами, которые из райцентра несли по четыре сумке через плечо. Паня несла только скромный сервиз на двенадцать персон, и то скрипела зубами. Потому что на зубах песок скрипел, а солнце палило, жара под тридцать пять. Несмело окликнула:

- К Анжеле Проценко куда пройти?..

На нее глянули впервые за весь километр, хотя она в том же автобусе ехала.

- У которой свадьба...

- Туда, дочка.

На широком дворе было полно людей, так что Паня испугалась, что свадьба уже идет. Но в белом платье она никого не нашла. Походив с огромной коробкой и потолкавшись у одной кучки, у другой, спросила, куда девать подарок, и услышала:

- Гости невесты — туда, белый флигель, первый этаж!

На дверях стояли стрелки, как в казаках-разбойниках: подарок — туда, спать — сюда. Подарки стояли до потолка, кровати — до горизонта. Уставшая от жары и переживаний Паня робко села на крайнюю койку, строго затянутую солдатским одеялом. Ей уже не хотелось видеть любимую подругу, она поняла, что попала на конвейер и покорилась.

И вдруг рупор:

- Гости, на выход!

Под деревьями белели буквой "Г" свежеструганные столы. На короткой палке стояло пять мощных мясорубок, на которых с хрюском давили мясо. На длинной палке было чисто и лежала веселенькая в радужках скатерть.

- Гости, руки-ноги мыть!

Стояло пять тазов с водой и на колышке ворох вытиралок, напротив на деревьях — рукомойники. Гости, их было немного, человек десять-двенадцать, первая смена — поплескались и смущенно подошли к столам. Паня увидела, как несут прочь три таза фарша, и ей стало не

по себе. Молодой парень стоял в торце стола, коричневый и блестящий, как скумбрия горячего копчения. Хоть и был он в желтой майке и военных штанах, Паня догадалась, что это тамада. И правда, тот хлопнул себя по обширной груди и душевно сказал:

- Гости дорогие. За здоровье молодых — все, быстро!

Скромная подружка невесты покорно взялась за стакан с мутной жидкостью и ливанула в себя. Жидкость, оказавшаяся самогоном, взорвалась в ней оранжевым сиянием и забулькала в ушах. Водку ей случалось опрокинуть, но это было явно злее, до того зло... “Мбл... Мбл...” — заклокотал самогон, норовя вылиться.

- До дна, до дна, не ставите! — весело подгонял парень, и Пане показалось, что она тонет — глаза таращились, руки махали. Осилив больше, чем пол-стакана, она уцепилась за тяжелую скибу арбуза и ткнулась в нее носом как в берег. Дальше она так и сидела, выев только среднюю часть. “Ничего не пойму, — подумала она, — от самогона жарко или от солнца?” Все вокруг уже весело смеялись, а над чем — трудно сказать.

- А где Анжела? — невпопад спросила Паня. — Подружка я, как-никак.

- Была б ты дружка, пошла бы в другой корпус, а по-дружка идет на общих основаниях. Тебе выпить дали? Дали. Нельзя Анжелку. Готовится она.

Что было дальше, Паня не запомнила. Проснулась ночью и вышла. Под деревьями горели огни. Вся буква “Г” была занята тазами и кастрюлями. В одном тазу горой печень, в другом котлеты, в третьем жареная рыба, вареные языки, еще что-то... Летняя кухня дымила двумя печами, горел костер. Кто есть будет? На армию еды...

Она долго умывалась из бочки и боялась идти в кровать, ее бы там опять начало качать и кружить. Попила воды — закружило пуще прежнего. Народ ломил ночью как в аду, как на заводе во вторую смену. На фоне ярких звезд пели сверчки. Кусты сирени трещали от вздохов. Непонимающая Паня посидела на лавочке в ночной рубахе и пошла качаться дальше.

За утренней рюмкой был инструктаж, который она проспала. Не уловила главного — если ты гость невесты, то сидеть только с гостями невесты, к гостям жениха не подходить. Поэтому она всю свадьбу недоуменно бродила между теми и другими, нарываясь на сердитые взгляды и окрики.

В машину доехать до сельсовета на роспись она не влезла, села к тому копченому паренюку на мотоцикл, и они оба, ревя разом, довели ее до торжества, когда роспись уже произошла. Жених и невеста расписались, обменялись и стояли как памятники, а престарелый кубанский хор пел трагическую свадебную песню. Песня была душераздирающей и хоронила Анжелку, отдаваемую под плетень. Паня восприняла обряд всерьез, очки ее запотели. Спиральная юбка в синих полосах надувалась тяжелым станичным воздухом, крылышки на кружевном топе трепетали, а по щекам сползали слезки.

Паня смотрела вдаль на Анжелу, ласково, утешающе кивала ей, пыталось даже помахать рукой, но Анжела не была уже прежней

Желькой: она стояла надменно, не видя ничего перед собой. Рыжие волны прически вспыхивали живыми цветами и жемчугом. Трехслойное платье вместе с фатой казалась водопадом. Жених и невеста, утес и водопад — сошли по ковровой дорожке с сельсоветского крыльца мимо хора в лентах, сели в черную конную коляску, разрисованную под палехский поднос. “А-а!” — грянул опять хор и встрепенувшись, Паня побежала к ближайшему мотоциклу. От сельсовета к широкому двору Проценок хлынуло народное шествие.

Процесс дарения подарков стал мукой — стояла очередь человек сто. От палящих лучей на подтаявших гостях расплывались темные мокрые пятна. Гости морились как перед мавзолеем, прочно держа свои коробухи. Те, кто стоял без груза, смущались: ждать долго, а подавать нечего. То есть конверты у них, может и были, но не будешь же всем говорить, сколько у тебя в конверте... Но зато с конвертами легче было стоять. Одни говорили два слова и долой, другие долго и читали заготовленную речь по бумажке, а в это время задние перешептывались и осуждали.

Паня не опозорилась: подтащила сервиз волоком и отбарабанила стишок по открытке. Желька ее как бы не узнала, опять надменный гордый вид, и что ни чудней всего, дежурно поклонилась ей в пояс, как и всем. Никак не дала понять, что в общаге они из одной тарелки ели! Паня обалдела — Желька, общежитская дикая орхидея номер один, стала чуть ли не Василисой Прекрасной...

За подарок всех награждали чаркой и шишкой — большой глазированной сдобой в виде сосновой шишки. Паня опять глотнула горячей водки, заела сухой сладостью и у нее все поехало в глазах — и широкий двор, и толпы людей, и женщины в атласных кофтах, которые сносили на столы еду тазами. Вдоль столов уже стояли ящики с водкой. Но несчастная подружка, честно хватившая самогону дважды и натоцак, очень искала. И искала просто попить. К столу пока не пускали.

Подкралась к костру, увидела, что в кастрюле стоит без присмотра бульон, быстро зачерпнула прямо рукой... Счастье, он был не горячий. Это спасло ей жизнь. Когда подарки были подарены, снесены опять во флигель и заперты на замок, зарокотал мегафон.

- Гости невесты, для вас музыка... Гости жениха — за стол! Грянула из колонок магомаевская “Свадьба”. Одна толпа послушно стала разбирать жареных куриц, другая обреченно запылила ногами. Паня, оказавшись рядом с сивоусым казаком, у которого на полосатом пиджаке немо кричали орденские планки, едва успевала подбирать подол чужой спиральной юбки, чтоб его не оборвали. Хорошо, она хоть каблуки не надела, не совладать с ними здесь. Песен десять отпрыгали. Казак толкнул Паню: “Передают сводку!” Рупор повторил:

- Музыка для гостей жениха, гости невесты — за стол!

Паня испугалась, что их погонят за чужие тарелки, но нет, их сажали с другого конца буквы “Г”. Первый раз. А потом, когда это повторялось и дважды, и трижды, все уже сбилось! Это было жутко интересно, так как каждый раз толпа приносила к другой лавке и другому стакану. Первый-то раз Паня нацелилась наконец на курицу. Но успела осилить только малую часть, а мелкой фасовки не было. А когда вернулась, то увидела эту уже хромую курицу под фаршированным

карпом и постеснялась доставать. Она в панике глянула на другие тарелки, там тоже было два-три слоя. Еды было столько, что казалось — никакая сила никогда это не сожрет, казалось, обобрали все станицы Кубани, чтобы Желькина свадьба погуляла как надо. То она ела что-то воздушное — голубцы в сметане. То огненное — помидоры по-армянски. То вникала в круг холодца, который непонятно почему не таял, с яйцом и лимоном посередке, то в розеточку с печенью.

- Гости! Встать!... Гости! Сесть! Все дружно... Плясать, кушать! Отды-хать! — то и дело разносилось из рупора.

Магомаевскую свадьбу перекрывали баянные ревы. Молодым хотелось врубить магнитофон, а старым хотелось хотелось петь любимые песни. На какие-то полчаса молодые и старые совпадали и одинаково истоиво вытягивали “Вот кто-то с горочки спустился...” или “Ой цветет калина”. Но потом свадебные вихри враждебные опять разносили недопетые песни по окружающим садам.

Паня ошибалась и поскольку никого не знала, ориентировалась на сивоусого казака. Она плюнула на все, дорвалась до кваса, и скоро ей стало невмоготу. Нервно пляша очередную летку-енку, она подскакала к сивоусому и глупо улыбаясь, спросила:

- А вы не знаете, где тут у них?..

Казак кашлянул, харкнул, вытер лицо и шею платком и потащил Паню в кусты сирени. Они шли по кустам долго, потому что там везде уже кто-то был, забрели в сад за домом и разбежались. Им, конечно, было все слышно, но какие мелочи! Над головой щebetали птицы, а по голове стучали падавшие яблоки. И никаких “сесть- встать”! Чудо!

Казак глянул на девушку и засмеялся.

- Шо, поблажало?

- Ага. Спасибо.

- А ты шо, подружка?

- Ага, а вы?

- Оцэй Анжелы дядько. Заморывся вже. А дэ твий парубок?

Паня промолчала.

- Немла парубка? Отож гарно... — Да как начнет целовать Паню! Та подхватила свою спиральную одежду и драпать...

Дальнейшая смена блюд и декораций пошла в тумане. Рупор призвал гостей на улицу для демонстрации. Свадьба обязана была из дома невесты перемещаться в дом жениха, и тем временем гости невесты опять должны были как лыски переть на себе приданое. А гости жениха — идти и обсуждать — какое, да много ли, и так далее. Паня смутно запомнила, что ей досталось что-то вроде большой подушки в оборочках. Кто нес пододеяльники, кто кастрюли и супницы, кто вообще комбинации и платья на плечиках, причем плечики подняты на швабры, как штандарты полка, а пониже дубленки и шубы. Перины везли на двуколке. После девятого вала еды пошел десятый вал барахла. Это было дико, потому что подушки и покрывала падали в дорожную пыль и никто не смущался. Тем более никто не смущался, что ветер колышет комбинации. Паня раньше думала, что ее Желька — королева, а тут такое раздеванис, унижение. Какое счастье, что Паня не дождалась выноса кровавых простыней, обязательных после первой брачной

ночи. Она бы мешок на голову натянула. Стоял шум и хохот, как на базаре...

Дом жениха был гораздо меньше, но оказался на берегу реки. Наличие столбиков, с которых сняли забор, намекало на сильную подготовку к свадьбе. Поверх грядки был брошен специальный высокий настил. Уж конечно, если бы пьяным гостям говорили, что нельзя топтать грядки, никто бы не понял, для того и настил.

Ослабевшая от самогона, от мяса, от жары и жаркой подушки Паня не понимала, откуда взялась эта власть над людьми, заставляющая их так уродоваться. Сгонять столько родни, чтобы сколачивать столы и сносить заборы, день и ночь жарить-парить, ставить большой прожектор на ночь, освобождать корпуса и этажи для ночлега, тратить немислимые деньги, лезть в долги, вообще заводить эту фабрику-кухню, этот хай... Ведь никакой же радости от этой фабрики, только команды, только ощущение себя пешкой. И глядя на Жельку, хотелось всем напомнить: она тут самая главная, так сказать, царица бала, но тоже стоит манекеном и подчиняется молча. Было жалко ее, было жалко всех. Не так показывали в кино. Не так праздновали свадьбы в институте. Не так представляла себе Паня свадьбу обожаемой подружки. Ну, стол в саду, ну, родители, может скрипочка поиграет, Желька посидит в плетеном кресле с женихом и Паней. Они будут перебрасываться взглядами, только им понятными! Это будет и прощание, и благодарность за все, что между ними было. За пылкие разговоры, слезы друг у друга на шее, секреты, клятвы... Вина на стол, фрукты, цветы! Цветов — вот чего жаждала бедная Паня, а их в силу бесполезности тут вовсе не предусматривалось.

Она, выходя из двора невесты, узрела на помойке гору котлет, которые жарили еще ночью, которые она так и не успела попробовать! Над горой котлет стояла туча мух. Паня, купившая на весь аванс новое платье и сидевшая на пшенке, люто завидовала людям, которые могут позволить себе котлеты. Но чтобы позволить выброс котлет — этого понять было уже нельзя...

Очередные хозяева сделали вид, что они не знают, сколько было выпито и съедено в гостях у невесты, как будто не сидели там! Во дворе стояли такие же свежеструганные столы и волюнка "плясать - кушать" повторилась. Только есть уже ничего не хотелось, и наверно, это было продумано...

А потом родители жениха стали играть страшный спектакль вроде хора в сельсовете. Они всех расставили полукругом и завели торжественные речи о послушании мужу. Паня знала все тонкости Анжелкиной любви и даже то, как она лишилась невинности, да и вообще вертела милым, как хотела! И вся общага знала об этом. А тут тихий белокурый жених стоял в жестяном пиджаке и держал плеть. Шикарная плеть с изящной ручкой, витая кожа и позолоченные кисти...

Паня волновалась, лихорадочно поправляла очки и хватала за лацканы Желькиного дядьку в орденских планках, забыв, что она на него как бы обиделась.

После речей жених выпил литровую вазу вина и как хлестанул Жельку этой театральной плетью! Желька стояла тихо, только чуть дрогнула кружевной спинкой и ее накрашенные глазки налились

тяжелой слезой. Паня зарыдала в орденские планки. Казак схватил ее, решив, что она перепила, и понес в речку прямо в спиральной юбке. Но Паня сквозь рыдания кричала, что одежда чужая, и хозяйственный казак аккуратно снял чужое, завернув Паню в свою рубаху. Затем искупал, не тронул, положил обсохнуть и чужое надел. Он же с ней и возился потом, собирая по двору невесты ее манатки и сажая в последний автобус.

В общежитии Паня проснулась утром в понедельник. “Всем встать!” — зычно крикнула вахтерша тетя Маша.— Чайники кипят!.. Паня, твой багаж у меня в холодильнике.” Паня, сдерживая похмельную дрожь, на цыпочках подошла к именному холодильнику тети Маши и обомлела. Там было два целлофановых мешка жареных кур, печени, арбуз и многое другое, что предусмотрел хороший сивоусый казак, поминай его как звали. А как звали-то?

ОРИ-ЗОНА

Кулики поехали к фермерам первым автобусом. Им нечего было есть, а у фермера можно на конке картошки заработать один к десяти. Конечно, это не даром, но и выбора особого не было. Кулик был молодой, лысый и с бородкой. Стальная проволочка оправы и старомодные штиблеты выдавали в нем интеллигента. А Куличка, та быстрее походила на горничную, чем на супругу его — простая, веснушчатая, как подсолнушек. Звали ее Лиля, но это имя только муж произносил, остальные — просто Куличка и все.

Видно, на нее-то и среагировала фермерова жена Арина Езоновна, почувствовав родное. Она отвела Куликов на дальнюю делянку за лесом, где у фермеров простиралось поле с немецкой “элитой”. Может, фермер так не сделал бы, но он как раз в тот день отбыл на мясокомбинат сдавать бычков, и фермерша правила сама. Дала мешки, лопаты-вилы-ведра и убежала гонять овец и коров, устремившихся в огороды.

- Арина Езоновна, а куда мешки? — крикнул ей вслед честный Кулик.

- Стерегите... — донеслось от Арины Езоновны, — сам свезет телегой.

Копалось сначала просто: немецкий сорт оказался богат, по двадцать клубней в кусту и все большие, с два кулака, длинные и ровные, как точеные из свежего дерева. Кулик вилами поддевал, Куличка шустро собирала картофелины, пуляла очередями в ведра, ведра набирали и в мешок. А как дошли до десятого мешка, стали тормозить. Съели по хлебу с огурцом, отпили холодного чая. Высокое осеннее небо посвистывало ветрами, умывало разгоряченные лица Куликов.

- Э, — сказала вдруг Куличка, — там еще кто-то копает...

Пригляделись и похолодели Кулики: женская фигура рыла картошку не с краю, как они, а посередине. Ведер у нее не блестело, она, пригибаясь и перебегая, даже рыла непонятно чем.

- Ворует, — пробормотал честный Кулик и побежал разбираться.

Куличка со страхом смотрела. Воровка далеко убежать не могла, ноша держала. Кулик без труда ее догнал, отобрал чужое добро и пошел обратно, махая рукой и ругаясь... Но баба пошла, спотыкаясь за ним. И он через несколько минут швырнул ей оклунок... Куличка даже закричала:

- Э, ты что делаешь?

Воровка побежала к лесу, а Кулик даже не посмотрел в ее сторону. Он пришел расстроенный.

- Ничего не заработаем, — объявил он. — Тут раскрадут.

- А зачем отдал? Принес бы.

Кулик молчал. Он бы закурил, да не было.

- Знаешь, чем она подкапывала? Детским совком. Безработная, говорит. Такая же голодная, как мы. И ребенок есть.

Она стали работать молча, как бы стоворясь, что восполняют эти два ведра. Но теперь Кулик начал сносить мешки в кустарник и закладывать ветками. Носить было далеко, Куличка морщилась, переживала, что он повредит руку. Вора опять увидела первой, и тут же, схватив вилы, побежала к нему.

- Держи-и! — завопила она, увязая в ухоженной пашне. — Держи гада!

Кулик побежал за ней, крича: “Стой, руки.” Бомжеватый мужичок испугался психической атаки с вилами и бросил свой рваный мешок. Ведро-полтора они вернули.

- Да и он вернется, — зло сказал Кулик, — Когда стемнеет.

- Так что ж делать? — загнанно спросила Куличка. — Тут и копать некогда.

- Некогда! — заорал вдруг Кулик. — И шут с ней, с элитой. И с хозяйкой тоже. Рабы не мы, мы не рабы...

- Зачем орешь-то? — испугалась Куличка.

- И ты ори. Будут слышать, не сунутся.

Они переговаривались, как глухие. Стало и смешно, и страшно.

- Лиля... Мы как шефская помощь дурдома.

- Попадешь с ними...

Солнышко стало быстро склоняться. Руки-ноги уже не ворочались, а хозяйка не шла с телегой.

- Как ее по батюшке? Позвать пойти? — спросила Куличка.

- Ее Арина Езоновна. Аризона. Пойди, я покараю. Скажи — все покрадут. Уже почти шестнадцать мешков.

- А тебя не убьют тут?

Кулик засмеялся.

- Ты что это, Лиля? Любишь, что-ли?

- Люблю, — скорбно сказала Куличка и неуклюже зашагала к усадьбе.

Фермерша была дома и Куличка все ей изложила. Та стала запрягать лошадь, а в это время мимо усадьбы пошли грибники:

-Теть! Где бор-то, в каком краю?

Аризона показала, рассказала.

- Надо дощечку прибить, — сказала она. — указатель. А то весь язык уже отмотала. Ты сиди картошку чисть, свезу мешки, есть будем. Там уже чугунок кипит, положишь сама.

И покултыхала на телеге через лес.

Куличка стала чистить картошку и удивляться, какая она огромная, на килограмм штук пять! Не картошки, а глыбы счастья. Только их возить через лес, болото — не по себе...

- Арина Зона! — закричал через забор мужской бас. — Не то опять твои овцы у меня в капусте?

- Ее нету, она в лесу, на делянку поехала, — откликнулась Куличка.

- Передай, значить, что етит ее так. Сам погоню.

Картошка закипела быстро, а как сливать огромный чугунок, Куличка не знала. Овцы пронеслись где-то за огородом, дико блея, потом обошли усадьбу кругом и пришли толкаться в ворота. Тут было вязко и болотно. Овцы подняли ор до тошноты. Психическая атака. Хорошо, что притащилась Аризона с телегой. Причем мешки лежали, а Кулик и Аризона шли рядом, жалея тяжело дышащую лошадь. У Кулика по лысине тек пот, очки в росе.

- Ребята! Где бор-то с рыжиками? Не туда? — пристали опять грибники.

- Туда! — махнула Аризона. — Давай, сынок, сюда, в сарайку... Эти два я вам отложу, сам-то завезет.

- У нас ведь не двадцать, только восемнадцать, — уточнил честный Кулик.

- Ништо. Ведь наломались, да стерegli тоже...

- Один я на коляске увезу, — успокоил Кулик. — Второй потом. Спасибо.

Сели есть. Развалы картошки были желтые, сахаристые, в тонком дыму, с каплями постного масла, а тут еще чеснок с солью, сало, хлеб черный... Кулики, бедные, так и накнулись. На них нашел такой покой, такое тепло и довольство, что они готовы были забыть непосильную работу и даже полюбить ее. Тело наполнялось радостью, головы туманились, руки - ноги не чувствовались вообще.

Аризона осторожно ткнула растрескавшимся пальцем в старый магнитофон, на котором стояли бобины величиной с тележные колеса. Клавиша хлопнула выстрелом. Потом послышался разбитый звук фортепьяно и дрожащий нервными вибрациями голосок. "Дай бог чтоб поняли тебя/ Чтоб шире распахнулись двери/ И чтобы с раннего утра/ Все птицы у тебя запели/ Ты людям свет свой понесешь/ И пусть не все его воспримут/ Но чью-то память ты спасешь/ И чье-то сердце не остынет..."

- Дочка, - шопотом пояснила Аризона, - говорят - самородок, снимали за покосом на стогах. Уехала теперь, вон пианино ее пылится, вон, батька рамами тепличными заставил.

"Я всей душою как сестра на путь тебя благословляю/ С тобой навек твоя земля, она детей не оставляет/ С тобою вера верная твоя/ Твои весенние рассветы/ Как зов мятежный журавля/ И песни что еще не спеты..." Кулики переглянулись, угадав в Аризоне скрываемую, большую печаль.

В этом голоске цвели отчаяние и блаженство, мольба и прощение одновременно. "Неправильно поет, - подумал грамотный Кулик. - Не училась, наверно." - "Увидеть бы, - поразилась впечатлительная Лиля. - Верит, наверно."

- Картошка не горит, — вздыхала о своем Аризона. — Хлеба вот нет в деревне, не возят. Тот раз как поедете — везите три-четыре булки, деньги я сразу.

Заблеяли резко овцы.

- Сосед вас звал, — сказала сонно Куличка, — ругался, что в капусте овцы.

- Пойду сейчас, — отмахнулась Аризона, — дай дух набрать. Напою овец, загоню. Не растаял, коли шуганул разок... Нынче зашла я

мотаться без мужика... Скоро ли сам прибудет, бычков ладно ли сдаст... Поди обманут опять нашего брата. Продержат на приемке, те исхудают, а платить, так по живому весу...

Она одернула пестрое платье, затянула на старой завивке полинялый крепдешинчик. Лицо ее, полосатое от неровного загара, с белым под челкой лбом было почти веселым, удивленным, глаза в прищуре - как чашки в трещинках.

- Эй, помещик! Где тут бор-то? Где-е? — опять пристали из-за ворот грибники.

- В п-де! — крикнула задорно Аризона. — Надоели шастать.

За воротами замолчали. Овцы продолжали жутко мекать. Властно смаривал сон, а честный Кулик тяжело встал и пошел увязывать коляску. Через минуту вернулся и срывающимся голосом позвал:

- Аризона, там грибники стоят, не уходят, говорят, с овцой неладно, и на бревнах что-то валяется. Пока не позовешь хозяйку — не уйдем, говорят.

Аризона побежала без сапог, Куличка за ней. За вот этим месивом перед воротами была полоска твердой земли, но по месиву грязи Аризона точно побежала в вязаных носках. Около бревен что-то чернело, как оказалось — крохотный черный ягненок, который и пищал.

- Обьягнилась дурочка моя! Жаль какая! — Аризона нагнулась над ягненком. — Ты-то живой, а мать где? Я трех брюхатых заперла, а этой же рано было, чего она...

Грибники увидели, что народ повывбежал и пошли дальше. Виновицу нашли за сараями далеко, она тыкалась в жерди мордой, нервно мскала, волочила за собой что-то красное. Аризона ее ловить — та хуже забегала.

— Иди, иди, глупенька. Иди к мамке, что ты рвешься-то? Приберу тебя, иди...

Ничего не выходило, обе были в трансе.

- Стой, — собралась Аризона. — Не так надо. Иди, дочка, со мной. Я открою загон нижний. Ты войди сюда, вон угол там приготовлен. Теперь иди - дам в руки младенца. Ты будешь перед Чомкой, перед овцой, значит, его держать и сюда в уголок зайдешь. А я буду Чомку направлять. А ты, сынок, захлопни сразу за нами...

Куличка взяла в руки скользкое, дрожливое существо. Оно тонко мемекало и судорожно вертелось, вытекая из горстей. А сильно сжимать было страшно, казалось сердечко тукает поверх шкурки. Куличка знала, как бьет пульс, когда нарывает рана. Этот кусочек живого был такой же раной. У Кулички не было детей, внутри все кричало и хотело, а тело не могло и не срабатывало. В руках у Кулички бился чужой пульс, чужое счастье. Надо тихо, тихонечко нести, пусть потом порадуется, тоже ведь мать...

Овца, потерявшая было детеныша, сразу кинулась на его голос, чуть не сбила Куличку с ног. За ней, облепленный сором, волокся послед. Аризона и Кулик подхватили овцу с боков и стали толкать к загону... Куличка ослепла от слез и от страха, но пятилась, пятилась, держа ягненка перед носом овцы. Овца рвалась в к нему, кричала. Наконец удалось войти и дверь хлопнула. Через две минуты Аризона прибежала с ведром воды и велела Куличке уйти, чтоб овца перестала бояться.

- Молодая она, первородка. Дурочка совсем, всполохалась как коза... — бормотала любовно Аризона, обихаживая Чомку. Куличка сама задрожала от потрясения.

- Ну чего, чего, — утешал ее Кулик. — Сейчас пойдем к дому, через полчаса автобус, картошку мы заработали, все хорошо.

- Он жидкий весь, — содрогнулась жалобно Куличка. — В руках сердце бьется голое, страшно. Тоже ведь рожала, бедняжка, не дай бог умрет ее черненький. Человечьего брось, так уж давно умер бы.

- Ничего не умрет, Аризона знает, устроит по-людски. Успокойся. Она тут банку молока нам еще дала.

- И как она успела надоить? У нее и овцы, и коровы. И элита в лесу... Я не представляю. Один день тут побудешь, и жить неохота. Они-то как?

Куличка сожмурила усталые веки, помотала головой.

- Да как? Как вся страна. — Кулик в потемках пытался разглядеть часы.

- Слушай, миленький, а вдруг все уедут? Сейчас, к примеру, сюда едут картошки побрать, а потом, когда тут все рухнет и некуда будет. Может, давай потом еще приедем, поможем им, а? Не из-за картошки, так — вообще.

- Не дергайся, сегодня не поднятая целина. Подумай, как нам с тобой пока выжить, не спеши сама в атаку. Сейчас у всех моральный эквивалент войны. А у Аризоны все обыденно, такие события у нее каждый день.

Кулики заторопились к остановке через поле, срезая дорогу. Они приехали сюда чужие, хотели заработать, урвать, забыть. Но сначала было поле, которое пришлось хранить как свое, потом уехавшая дочка-певица, от которой остался лишь голос, а потом глупая овца, обьягнвшаяся не так и не там. Чужими быть не получалось, они ловились на страдание, откликались на него и присыхали к гиблому месту. Кулик сцпил челюсти, пытаясь убедить себя, что ему не тяжело, что все хорошо, хотя черное небо и непроглядная дорога гудели обратное. Через этот глухой гул пробивался дрожащий голосок певицы-дочки. "Их провожало небушко и поле/ Березок белых нежная чета/ Не ошибалась верность русской доле/ России верность вечна и чиста..."

Куличка старательно месила пашню, поднимая повыше сетку с молоком. Она беззвучно вытирала бегущее с лица горе, изредка оглядываясь на черную, без огонька, оставшуюся позади усадьбу.

ОЖИДАНИЕ КОЗ

Идти далеко! До неба должны мы дойти за женщиной, худенькой, ореховой, скорой на ногу. Она споро бежит по дороге, уходящей вдаль и ввысь - как бы поднимаясь к небу, бежит, не замечая свистящих мимо расстояний. Но куда мы бежим взадых, глотая горячий воздух? Мы бежим, чтобы не опоздать. Дайте же, дайте мокрую панамку, лицо горит как в кислоте...

Машинальной рысью, совсем без сознания, с екающей и колющей от бега селезенкой нас выносит на пустынный луг. Можно упасть, продышаться и ждать.

В кривящемся от зноя воздухе заметны на зеленых травах цветные горошины женских платков. То десятки, чуть не сотни женщин сидят, сбившись, на досках, просто на взгорках — и ждут. Мы слышим их говор, обрывистый и грустный, будто проглатывают что. Они ждут и терпеливо волнуются.

- Где носит окаянную, где носит?

- Тамарка, неугомонна. Она всегда так. Не то, чтоб до срока довести, еще и сверх срока прихватит.

- Все тепётся.

- Говорили ей. Столько лет— ведь шестьдесят было, сын в городах пристроен, на кого и ломить? Нет, ломит, тепётся, грешная. Говорили!

- А не слышит.

Все подавленно молчат. Потом, взглядевшись в закат, одна опять не выдерживает и роняет:

- Загоняет бедняжек.

Над бесконечным полем начинает густеть, наливаться тревога. В беззвучном солнце, в терпком небе ничего, ни отзвука, ни окрика.

- Моя-то прошлый раз прибилась к чужим. Домой не пришла. Полночи я бегала, обыскалась ее.

- Хлеба надо давать, давала? Не то стоишь, кричишь. Может, боится она так.

- А то нет! Всегда даю.

Опять замирают.

- Нет, бабы, я так последний год. То не дожدهшься, то не выкормишь. Хватит уж, я не Тамарка. Сил нет.

- У меня тоже нет. А что делать? Дал бы президент на двести целковых поболе, так и не надо бы водиться. А то вожусь. Уж будто все для симпатии нянчат.

- А у меня, девки, какая страсть с козлятами. Наелись чего-то, все водой ходят.

- Калганом пои, а то не гоняй, дома держи.

- Так и мать надо держать, куда она без них. А чего надоит непасеная?

- Это да.

Горестно трут платками лица, вздыхают надрывно, как перед больницей. Разговор переводится подальше от греха.

- У тебя-то малая на руках сидела — нынче с тобой уж гоняет ?

-Ножками внучка пошла, легче теперь. Дочь привезет простудную, всю с кашлями, а у меня она напоена, нагрета, через три дни как новенька.

- Она у тебя дельная, другие пойдут гонить что зря, да орать, а эта вичку возьмет и так ладно — “иди, иди”. Понимает уже.

- Она понимает. Зимой я пошла коз доить, она от меня и заперлась в дому... Все играла с козленком, он выбегал. Я крикнула — дверь запри! — она и заперла, крючочек накинула. Я стучать, она молчать. Внученька, давай скорей, стыну! Ведь в халате, в сапогах выбежала, а мороз! Молчок. Туда, сюда, кругом дома, кричать, соседи подбежали — чего ты? Выставили окно в кухне: спит моя голубка. И козленок по дивану ходит. Думала, умру...

Слова про стужу звучат по сонной жаре дико, ни на что не похоже!

- А моя спрашивает: бабушк, тарелки на это поле прилетали или куда? Я ей — на это, на это. Она опять — а женщина в красном жива после них? А как же. Я узнала потом, кто такая. Ничего, жива, только болела. У складов живет.

- Ой, хватит вам опять. Прилетали, не прилетали. Не наше дело. Себе ума не дадим, тарелки разбираем...

Возникший крик:

- Бабы! Ведут наших !

В огромном поле горошины как рукой сгребают, потом смешавшись, пятно горошин вытягиваются полосой. Идет неясный гул. Из крайнего бурьяна и кустов показывается стадо - коз страшно, невозможно много, бегут быстро — блеющий пестрый поток, громкая, тревожно-пестрая масса !

Навстречу им — другой поток! Бабы с оханьем, причитаньем, зовут протяжно, ищут своих, будто голосят! В адской мешанине бросаются друг другу навстречу, кричат, чуть не плачут — двести баб, двести коз — столпотворение!

- Биля, Малышка, Роза, где вы? Идите скорей!

- Груша, Груша, ко мне, пропажа.

- Розка, Розка!

- Машка, Пальма, домой.

- Лада!

- Звездочка!

- Биля, Малышка!

- Марта!

Найденные Биля, Малышка и Розка с разбегу утыкаются в хозяйкины колени и спешно хватают приготовленные черные горбушки. Но не успокаиваются, а продолжают отчаянно блеять, толочься и сбивать с ног других. Вокруг них сразу водоворот! Грушу долго не могут найти.

- Груша, Груша, иди, пропажа, иди милая! Гру-у-уша!

Козьих величаний еще много, и они часто смешные, комичные, а хозяйкам это не видно, они выкрикивают на полном серьезе, до горьких слез:

- Маля, Кукла! Маля-Маля-Маля!
- Чита, Чита!
- Монетка!

И те им отвечают, кричат как ненормальные свое “бе-е” невесть от какой беды и усталости.

- Боже мой, Груши нет опять, девочки, не видали?
- Да она в первых рядах пробежала, что ты!
- Кукла, Марта, Монета!
- Нет Груши! Ох смотри.
- Как нет, если первой бежала. Сама смотри, коль пригнали.
- Звездочка, Звездочка, вот и ты, худышка моя.

Так не коз, так детей встречают из лагеря или откуда еще похуже.

- Ну Тамарка, истомила нас. Сколь тебя ждать надо! Смотри, они не пимши, не емши столько бежали!

- Если им перекур давать, вообще бы к утру пришли. Всех не дожدهшь, — тихо бросает пресловутая Тамарка, обходя козье шествие. Это крохотная старушка в больших! литых! сапогах! в жару! Она идет еще быстрее, чем наша, хозяйка Биля, Малышки, Розки и на спине несет охапку травы больше своего роста..

- Биля, Малышка, Роза, ну вот еще хлебушек, ну попейте в канавке. И к дому, к дому. Чего встали?

Приходится толкать растопырившуюся Розку, но она уперлась всеми четырьмя, ни с места, как ослик.

- Ну как-нибудь. Ну давайте, родные.

Постепенно толпа женщин и коз вытекает с поля, как каша из кастрюли. Говор становится ровней, легче, точно с души свалился ужас. Отходя от пережитого стресса, бабы громко смеются всяким пустякам, радуются жизни и вспоминают, что надо спешить. Надо дойти, загнать, обрядиться, а там еще три сериала на вечер.. Даже хозяйка Груши идет, грустно качая головой, к дому. Потом вечером обойдет соседей ища беглянку, приставшую к чужой избе.

С обочин и окраин поток распадается на узкие ручейки и расходится по улочкам. А пока он похож на исход из Египта, и поскольку голоса беды замолкли, драматизм происходящего угас, все движение стало мирным, даже величественным, как народный праздник.

Женщины и козы, нашедшие друг друга родные существа пошли рядом под высоким небом, с которого слетали неведомые страшные тарелки. Это шествие космическое, библейское, необратимое. Оно похоже не на ту музыку, которая несется изо всех распахнутых окошек. Это не позывные “Санта-Барбары”, которые повторяются с точностью до секунды и заменяют будильник. Это похоже на Баха, какие-нибудь “Страсти по Матфею”, на ораторию, в которой проникновенно звучит

звучит тема страдания и нравственной стойкости человека. Начинаешь понимать, почему они будут ходить так годы и годы – дело не в малых недостатках – и почему хвори надо перемогать, и сенокосить через силу, невзирая на возраст и новые порядки. Надо побольше сена забить в сарайки, впереди лютые холода, и это правильно, весь год пекла не вынести. А пока козы в уютной темени жадно тянут теплую воду, через стенку хозяйка льет в кружки густое молоко. Это тоже и верно, и вечно.

ТРОЕ НА КАМНЯХ

Камни, валуны шершавые, точно крытые пылью, узорчатой цветной плесенью, сохлой осокой. Они обычно под водой, а вот вода отступила и дно стало берегом.

Невидимое стало видимым. Трое бредут по дну, прыгают, перебираются с камня на камень — кто они?

Хорошо и легко скачет босая девушка, босоножка, держа в руках свои развалившиеся босоножки. Узкоплечая, гибкая, похожая на грузинку — глаз длинный искоса, лохмата, темноволоса, в шортиках и футболке. Она подолгу высматривает, куда ступить, острожничает, озирается, засматривается на листики, прутики, все, что стало мусором дна. А в общем движется прямо. Грациозный танец с перерывами, замираньями.

Парень небольшого роста, крепкий, веселый, в рубашке и сапогах, он идет обходами, крутит головой, не желая прыгать, а может, прыгать в сапогах неловко. Парень упруг, девушка невесома. С ними мальчик маленький, не похожий ни на того, ни на другую, это совсем третий человечек. Он громко зовет, часто оступаясь и падая. Находя ручку от чайника, золотую проволочку и яркую любовную наклейку, опять вопит о внимании, чтобы с ним вместе повосторгалась.

Парень от него отмахивается, он упрям и настойчив, а девушка покрутится в досаде и все же подает руку маленькому.

Они не движутся. Они скорее кружат, ну куда, куда дойдут они — кто в лес, кто по дрова?

Солнце кусками среди рваных ветром туч, огонь кусками, лентами от рваного костра, кожа у них красная и горит. Чего, казалось бы, надо — залечь в высокую жесткую траву — покой да тишь. А нет, надо ползать, карабкаться, изучать невесть что, швырять ракушки и ветки в клекот воды.

Парень, кажется, палец разбил в сапоге, хочет прина него клеить листок, он не двинется, пока не обходит ногу, девушка сердито машет на оводов и на прядки волос, раздуваемые ветром. Мальчик устал, улюлюкает и — ни с места. Он слаб, эмоционален и не хочет ничего знать. А парень любит комфорт. А девушка вспоминает, что ей надо выглядеть и ищет, где посмотреться в водичку.

Смотришь на них и не верится, что эти непохожие люди — родные друг другу, два брата и сестра! И психология, и темперамент, и внешность, и поведение — ничего общего, как с разных планет. Смотри на них, ты видишь невозможное.

Помнишь, много лет назад, когда я влюбилась в тебя? Меня положили в больницу. Подкосила тогда простая мысль: если не выйду из больницы, то не смогу в старости гулять с тобой по берегу. Как гуляла бабушка с бабушкой в “Старомодной комедии”, как гуляют два человека, прожившие жизнь. “Ничего я еще не прожил!” — крикнул старый поэт...

Так вот, сегодня, семнадцать лет спустя, мы с тобой сидим на берегу и шурясь от косматого солнца, смотрим на детей, которые прыгают с камня на камень.

Это наши дети, представляешь? Они могли не появиться на свет, вспомни, сколько всего было “против”... А они появились, выросли и

земля даже жмурится под их упрямыми пятками. И чего еще просить у всевышнего, не знаю, Господи, одно это — и то непостижимо.

ЧУДО И ЧУЧЕЛО

Н. Сучковой

Огород умирал. Ранняя жадная весна быстро выпила талые воды, и зелень, рванувшая было расти, стала бледнеть и гнуться. Редис выдул в шершавую ботву, по земле распластался. Лук желтел и ник. Свекла выбросила темно-фиолетовые в прожилках листики, которые сморщились в жгуты. Деревья, поспешно осыпав густой белый снег цветов, сонно шептались белесой листвой. Настурции напоминали сухие ломтики картофеля из духовки. Только колкие кустики бархотцев упрямо торчали вдоль дорожек, они были привычные к жаре.

Хлынувший шальной ливень превратил огород в мокрое белое - лоскутики и тряпочки растений еще некоторое время лежали без движения. Что сохло, а что кудрявилось.

Теперь огород уж не лежал, а стоял стеной - клубничные листья щурко сверкали лакированными зубцами, лук воинственно ошетинился резиновыми стрелочками, пыхнули мелким пожаром настурции. На картофельной грядке, перегоня бархатисто-кустистый овощ, выскочили изумрудные осотики.

На горохе птичье началось столпотворение, в росистых кудрях его писк, щебет и жужжание.

И явилось в огород чучело, раскинув свои атласно-дырявые рукава, и укORIZненно замотало пышной головой - мочальные патлы с лентами фольги и бусы из кефирных крышек жутко тарахтели. Порывы ветра заставляли брякать тяжелые ржавые колокольцы на трех юбках чучела. Чучело казалось себе артистом, не догадываясь, что его собрали из сокровищ чулана и помойки... Что прохожие то и дело удивленно оборачивались на него - не чучела заслуга, а остроумного хозяина.

С пронзительным криком пронеслось мимо гонимое чудо. После резкого хлопка оно уронило на патлы чучела несколько райских перьев и пометавшись над огородом, нырнуло под защиту ветхих рукавов. Притихнув после погони, чудо долго не могло опомниться, потом грациозно выглянув наружу, устроилось на плече чучела. Невероятно красивое, шелковое оперение коричнево-бежевой грудки оттенялось белоснежным султаном спинки. Зеленые глаза смотрели так мистически прозрачно, что в них отражалась не столько форма, сколько суть встречно смотрящего...

Чудо не боялось фольгового бряка - у него были заботы поважнее. Зато у чучела был сладкий зеленый горошек, а еще молчаливое одобрение простого существа. Чуду надоело летать по свету, являясь людям то в облике песни, то в облике райской птицы. Каждый мог увидеть его только в том облике, какой допускался его бедным воображением. Чудо успело побывать и в клетках, и под дулом, пролетело много верст и уверилось в своей ненужности. Чудо устало.

В непогоду чудо нырнуло под одежды чучела и там во дреме стало ожидать солнышка.

Оно также приютило потерявшегося котенка и когда соседская девочка с плачем обнаружила свое мяукавшее сокровище под юбкою чучела, почему-то ахнула - "какое чудо!"

Когда сильная гроза распахнула окошко хозяйки, порушила убранный домик, хозяев не было дома. И быть внутри беде, если б не закрылось окно само, да еще на крючки.

Потому что чучело научилось ходить по огороду, звенело бубенцами, гоняло воришек не только с гороха, но и с ягод, подбирало забытый тапочек. А клубника и редис дали по второму урожаю. "Чудо какое-то" - бормотала хозяйка, суетясь с баночками, не веря своим глазам. Хозяин-мастер, сотворивший чучело, только улыбался. Улыбались и прохожие, когда видели на огородике знакомую фигуру, стоящую то в смородине, то в подсолнухах, то вовсе у забора, в траве по шляпу.

Когда полетел с неба первый снежок, чудо улетело. Оно не могло жить в глуши и серости, ему хотелось простора и света. Оно любило являться туда, где его ждали сильнее.

На огороде сразу установилась тишина. Замолкла главная музыка лета — птичий щебет и свист, переливы и щелканье небесных голосов.

Даже хозяйке не удалось увидеть чудо живое, разве что в виде лишнего ведра ягод. А чучело молчало, роняя на ветру старые бархатные перчатки, нагнув голову с коричневыми пуговками глаз, мочальными локонами и фольгой. Его не выбросили, бережно сохранили в доме до будущего огорода, поместив за буфетом и нарядив, точно елку. Ведь у него в груди побывало чудо. Чтобы это понять, мало одной жизни.

Мы куда только ни задумывали ехать, ничего не вышло. Думали про Овражье — грибной край, родня, — но дорого, три сотни одна дорога. Можно бы в домик у озера в Ожиге, нашел знакомый. Но там надо сидеть и ждать, пока знакомый увезет, самим от железки не добраться. Как всегда в конце лета, не в начале, оказался где-то под Аровском пустой дом — почему не поехать? Это выручила одна поэтесса, там дача ее матери.

Отпуска совпадают, детям новизна, а мне все равно, где витать в эмпиреях. Арий любит уединение, а там его сколько угодно.

Поселок не медвежий угол, домов много, хотя нет почты. Закрыли почту. Есть два почтовых ящика, на бывшей школе и на магазине, один из них то и дело сбивает на землю скачущая после танцев молодежь. Они идут из синенького дощатого клуба по дороге, им не хочется расходиться...

Я написала письмо в редакцию, глядь — а ящик в куче мусора, камни внутри. Нашла почтальонку, возмутилась. Но та уже лично передала письмо, ничего страшного. “Раньше поджигали эти ящики, — сказала она, — хоть из чего хочешь делай”.

От поселка захватывающая панорама! Сбегаются встык две реки, быстрая и медленная. Холмы, ели, дух захватывает! На другом берегу — бывший дом отдыха, многочисленные дачи художников... На берегу у лодки, как на городском пляже, играют дети знаменитого К. Кстати, скоро в Аровске будет энергичная художническая тусовка с участием столичных гостей, а может еще венгров и японцев. Администрация упорно ищет миллионы... Но поселку не до культурной жизни.

Поселок живет под знаком хлеба три раза в неделю, когда надо идти в магазин стоять. Полдня бабульки дежурят, обсуждают кассиршу сбербанка, которая не взяла в тот день плату, а через три дня плата подскочила. Пока сидят, плата за хлеб тоже подскакивает на двадцатку. “Ой ты, гой еси, гой еси — от новгородского вече да до запорожской сечи,” — так Арий говорит. Бывают в магазине яйца, лапша, консервы, пряники. Ассортимент минимальный, но достаточный.

- Долго не едет нынче.
- Да он с отпуска, не нагулялся.
- Димка рано возит, а энтот вечно к обеду.
- Везут!
- Ты тут не стояла...
- Дай три.
- Обождешь.
- Мы с работы. Ну орать-то...
- Я не ору.
- Теть, отложи три черных, две белых, мамка говорит. Потом придет.
- Иди, иди. Отложила.

Хлеб добыли. С молоком тоже договорились. После утренней дойки получаю два литра, и иногда еще творог — желтый, бархатистый, жирный как масло. Дети встают рано, садятся на лавочку под березами, а я им — творожок с сахарком, молоко с черным хлебом... Натурпродукт, все настоящее!

Зной. Пекло. Мы обгораем в лохмотья, папа Арий малиновый и даже купается только в рубаше. Вдали от воды невозможно пробыть и часа. Нашли островок песчаный с мини-лагунками. Сидим по горло в воде. Есть несколько метров неподвижности, а дальше течение крутит вверх тормашками. У Ария приятель поехал на юга за сотни километров, за миллионы рублей, а у нас все то же, только рядом, рядом! Один раз попали в Аровск, и папа уехал оттуда проведать бабушку. Нас же он посадил на такси и мы через пятнадцать минут уже упали на песок любимого острова.

Счастье такое! Папа умница, все предвидел. Мы все этого жаждали, но скоро мне надоело раскаляться. У меня отекли ноги, запыли глаза, тело потемнело, как у мулатки...

Если в поселке дождь, то он льет неделю без передыха. А природа! На природу ходить необязательно. Дети пият дрова, играют в домушки. А я за стенкой пишу рассказы. Очень легко пишется. Картошки полный огород.

Саша-печник штукатурит ту половину, где тетя Нина. У тети Нины муж умер, да племяшка восемнадцати лет умерла, у сестер руки не подымались на дом этот. Но надо, надо. Хоть бы мальчик приехал, сосед, обещал помочь... И скоро юный отрок тоже сидит верхом на крыше, мажет трубы...

- Ой, да не мой ты крыльцо, летит же сверху.

Это укоряет другая тетя, приехавшая на прополку. Она рассказывает, как учителя Аровска бастовали, терпели голодовку, лежали в раскладушках, а им в это время делали клизмы, чтоб поддержать. Ведь учителя пожилые, часто больные люди. "Первые сутки ничего, на вторые сутки кружит, на третьи обмороки. Многие заболели, но унижению конца нет. За два месяца выдали деньги. Теперь хоть снова начинать."

Мы все же делаем броски на природу — в соседний лесок. Там набирается сыроег на суп — не время, хоть и дождь, но тепла больше нет. В лесу удачно обошли бурелом, нашли чудную поляну для костра. Только и радости, что костер!

- Дети, тонких надо палочек, смолистых...

- Мам, дай колбаски, хлебушка...

Намокаем до костей и спешим обратно. Домой — мимо льнозавода. Льнозавод работает очень тихо, людей на территории нет. Где-то гудит мотор, Арий говорит — завод как в Японии, все на автоматике. А может, завод не работает. Есть функциональная башня с выбитыми окнами, есть большой навес, поросший травой, есть огромные трубы с лохмотьями какого-то тряпья. На проходной — вечно запертые на цепь ворота. Из дома у проходной выходят две тетки в платках -- красные, значит, банились.

А еще у проходной есть частная лавочка, там раньше столовая была — закрывали. Есть пестрые дорожки по пятнадцать тысяч метр, легкие. И еще чистый спирт в укусных флаконах — по пять. На

этикетке много красных и желтых фруктов, пахнет ананасом, называется “Тропические плоды”, пищевая композиция. Можно добавлять в торт, в коктейль. Но мужики в поселке делают проще — добавляют воду, получается около сорока градусов и на тебе, “тропиканка”. Популярная вещь!

Многие дома, как у тети Нины и тети Гали — живые, с жирными огородами, с теплицами. Мурманчане, те с апреля по октябрь живут! А некоторые дома ослепли, запылились, трубы водосточные отпали. Бурьян! Тут по два года не бывали. Вон там, например, на столе чашка, машинка печатная... Мне хочется присвоить машинку, я забываю, что разучилась на ней работать после компьютера... А вот большой дом на два уровня — верх жилой, низ для скота. Говорят, уже три года никого не видно, и продажу не объявляли. Обрушилась навесная лестница. Обгорела веранда... Дом мучительно умирает...

Ему уже не слышать возни в своем брюхе, как напротив. А там вон коричневый теленочек: мбуу! мбу-у!

Вон тот барак тоже стоял долго пустой. Потом туда заехали какие-то с Севера. Соседи радовались, что они молодые, трое детей, мотоцикл. Но прошло два года, а они даже огород не хотят копать. Сама четвертым ходит, живут на детские деньги. “Чего не работаете молодяжке?” Красивая, с Прибалтики, крупная, в вязаном пальто ходит, волосы до пояса. Молчит всегда...

За сараями глубокий прудик или гижоканова с непитьевой водой. Там есть камыши и караси. У нас сосед с седой бородой, очень романтичный мужчина. Все время карасей отсюда носит, некуда девать.

У нас проще. Как придешь домой, как затопишь, как затрещит полешко... Дождь шпарит, а я картошки наварю и говорю в кухню:

- Чего, разбавлять или так?

Мышь выходит из норы и пищит:

- Так!

Иди, мышка, иди. На стенках трещины в три пальца. Углы тетя Нина подымала, вот и трещины. Зато теперь дом будет крепко стоять. Трещин на тот год не будет, Саша залепит... А еще на стенках две картины под стеклом, на одной графский парк и пять человек народу, как в льнозаводе... И на одной стороне Алла Борисовна в белых мехах, на другой Владимир Семеныч с сигареткой. Он горько смотрит, она гордо и томно.

Я и говорю — этому гнездышку цены нет. Помнишь, кино было — “Осень”, чуть ли не первый советский эротический фильм, который я видела, там еще Кулагин и Виралайнэн играли — они потрясающе любили друг друга на перинах и панцирной сетке.. “Теперь на нас одних печально / Глядят бревенчатые стены... / Мы братя преград не обещали, / Мы будем гибнуть откровенно...” Пастернак понимал!.. Кстати, по радио Би-Би-Си читает стихи Пригов:

- Все вымерли, вымерли, вымерли...- здорово читает, артистично до аута.

Дети говорят:

- Вот бы наша училка по литре так читала.

А потом хохочут, падают в одеяла и спят до десяти утра. Их вымокшая одежда у печи исходит густым паром. Да зачем “вымерли-вымерли, один я остался”? Хоть бы и разбавили, не одного в избе оставили. А впрочем, можно и так...

Ночью страшно.

Однажды ночевала одна, все семейство уехало. Я хорошо поработала — и пером на бумаге, и царапалкой на гряде, вымыла пол, вкусно попила чаю... А ночью стали вспышки мигать: раз-раз! и нет. Раз-раз, и нет! До меня сразу не дошло, что это собирается гроза, молния пыхает во все небо добела. Я впала в непосильную тоску, молиться начала. Лежала, загородившись простыней от конца света — до тех пор, пока не загрохотало.

Я вспомнила, как утром мы с Арием сидели на лавочке, по радио: “Умер Курехин.” Только что слышали его приколы, шуточки, его смешную “Воробьиную ораторию” — и вдруг конец, молчание. Как он потом будет лежать в гробу со лбом, прикрытым путеводительной тряпочкой, мы увидим по телевизору позже, а вот этот удар молчания, он пришелся прямо сюда, под ложечку, все внутри заекало, заболело. Я приняла вспышки грозы за грозный укор: смотри, с тобой то же будет, торопись... Я боялась, что пришла моя очередь. Сколько дней - все помню ту ночь.

Вон там есть дом, в котором никто не был два года, а нынче в час ночи свет загорелся. И никакого движения, и дым из трубы не идет. Мышь опять пришла и нюхает. Сходи, мышь, посмотри? Нет, не ходи. Арий, ты скорей туши свет, иди сюда. Будем тоже гибнуть откровенно.

У Левитанского есть такой стих — “пусть дождь идет... пока мы дома... а наши дети сладко спят...” Я его хотела спеть, но всегда глохла, жмурилась, представляя себе всю невероятность такого счастья... Да и зачем петь, все спеть невозможно — если возникает, пробивается через помехи и треск эфира вот эта, вот она — такая ультразвуковая, заволаживающая музыка... Вон она опять. Когда я слышала ее по радио, я обмирала, думала — что такое, полет в космос, прибой океанский, жизнь после смерти? Что-то летящее, пророческое, мистическое... Но Арий сказал — никакой мистики, это позывные французской национальной радиостанции — “Радио Франс Интернасьональ”... Я поверила, потому что знаю — много сил надо, чтобы долететь Франции до нас, а чтобы нам до Франции тем более, надо все бросить тут, в деревянном домике, в деревянном теле свои мирские обычаи и полететь ввысь. Только не сразу, понимаешь?

Сначала через поля и влажные копны, как у того столично-аровского художника, чарующе похожего на француза, через темную зелень крон, через громадные ели, провода, башни разрушенного льнозавода, потом через тучи как через своды, а потом так и лететь плавно, не умирая, только ныряя в сонные глубины, приближаясь к Парижу, лететь до захвата духа над знакомой до мельчайшей горки планетой и понимать, что ты ее, родную, еще не скоро покинешь и в розовом искрящемся мареве вернешься к ней опять в одно прекрасное утро.

СОДЕРЖАНИЕ

Уна.....	2
Рабство.....	8
Интерн.....	11
Декаданс.....	14
Закоулок.....	17
Омовение.....	21
Золотая комната.....	23
Пузырики.....	27
Сумка.....	29
Издалека.....	34
Всем отдыхать.....	38
Ори-Зона.....	45
Ожидание коз.....	50
Трое на камнях.....	54
Чудо и чучело.....	56
Ария.....	58